



9-
АЭРОФЛОТ
AEROFLOT

**Василий
Аксенов**

НА ПОЛПУТИ К ЛУНЕ

**СОВЕТСКАЯ
РОССИЯ
1966**

ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ ● НА ПОЛПУТИ К ЛУНЕ





НА ПОЛПУТИ К ЛУНЕ

КНИГА РАССКАЗОВ

Василий Аксенов



Общей для рассказов этого сборника явилась тема нравственного совершенства человека. Очень ярко выражена в них позиция автора, который вместе с героями дает бой подлецам и мещанам. Часто В. Аксенов сталкивает, противопоставляет два типа человеческого поведения, две морали. Так, в рассказе «Дикой» сопоставлены две судьбы: Павла Збайкова, прожившего полную трагизма, но и полную деяний жизнь «на ветру», и Дикого, испугавшегося «ветра эпохи» и растратившего свои силы на приобретение никому не нужной машины, придуманной им еще в детстве. И это противопоставление в каждом рассказе приобретает свои, неповторимые краски. Таковы рассказы «Местный хулиган Абрамашвили», «Маленький Кит, лакировщик действительности» и др.

Кроме того, в книгу вошли «Японские заметки», согретые присущей В. Аксенову тонкой наблюдательностью и любовью к выразительной, символической детали. Заметки эти написаны с большим уважением к гордому и трудолюбивому японскому народу, и в то же время автор не скрывает острых противоречий в жизни Японии.

Р А С С К А З Ы

В Рязани грибы с глазами,
Их едят — они глядят.

Я вспомнил эту дразнилку, когда садился в экспресс. Рязанские мужики телка огурцом режут — вот еще одна дразнилка. Но все-таки мы были не последними: над вятскими и псковскими смеялись больше.

Итак, я вошел в вагон, похожий на самолет своими мягкими авиационными креслами. Я был весь в поту. Это становилось уже неприличным — пот капал с бровей, лицо мое горело, воротник рубашки намок. Дурацкая моя соломенная шляпа резала лоб, и, видно, все эти причины — пот и боль от дурацкой этой шляпы, и тяжелый чемодан, и рюкзак с подарками — все эти причины погасили волнение, которое, как я предполагал, должно было меня охватить при посадке в рязанский поезд.

Наконец я уселся, положил на колени шляпу, откинул спинку кресла и вспомнил дразнилку. В Рязани пироги с глазами, бормотал я. Их едят, а они... Грибы с глазами, подумал я, и тут вот меня охватило невероятное волнение, от которого что-то сдвинулось внутри и появилась боль, и слезы смешались с потом.

Поезд тронулся, и по вагону пошел гулять летний ретивый ветерок, напоминающий о райском житье, о том, как босоногим мальчиком, вороватым и пронырливым, я вбегал под сень рязанских прохладных рощ. Что я знал тогда о мире?

В 1920 году мы, делегаты 6-й армии, ехали с Перекопа в Харьков на Всеукраинскую партийную конференцию. Нас было двенадцать человек в теплушке, и во всех остальных вагонах ехали такие же, как мы, обовшивевшие люди. Были тут красноармейцы, коман-

диры, комиссары; все на «ты», прямо из окопов. На «вы» мы звали только Марию Степановну Катину из политотдела дивизии, единственную среди нас женщину. Она была молода и образованна, и в ту пору у меня с ней складывались чуть ли не романические отношения. В 21-м году она умерла в Бахмаче от сыпного тифа.

Поезд шел медленно по заметенной снегом разоренной земле. Сгущались сумерки и не было видно в них ни одного огонька — пустыня, а потом серый рассвет и дикий гиблый ветер в полях, и только наш гроыхающий состав с жаркими печками и шматами сала в трюках, со сладкой картошкой, с горластыми ораторами и спокойными теоретиками, только наш поезд своим медленным движением утверждал жизнь в этой пустыне.

Вместо того чтобы отсыпаться после окопов, мы спорили. В самом деле, ведь за безжизненными этими полями виделись нам голубые города. Что касается меня, то для меня над голубыми прозрачными куполами в бездонном моем весеннем небе висели механические стрекозы, похожие на нынешние вертолеты, а сверху в теснинах улиц были видны волны праздничной манифестации. На остановках перебегали из теплушки в теплушку, возникали летучие митинги, создавались временные комитеты, инициативные группы, выносились резолюции.

Мучили нас вши, они отвлекали от высоких мыслей и яростных теоретических схваток.

Ночью как-то я сидел возле печки и чесался. Утомленные мои товарищи спали; не просыпаясь, храпели, раздирая себе бока. В накаленном красном сиянии, излучаемом печкой, видел я нежный пучок волос на затылке Марии Степановны и ее тонкую руку, и изгиб ее бедра. Она тоже почесывалась.

В ту ночь я сделал замечательное открытие. В железном боку печки была дыра с пятак величиной. Там создавалась сильная тяга внутрь, в печь. Случайно я приблизил к отверстию ворот гимнастерки и вдруг заметил, что вошки из всех складок, подхваченные этой тягой, полетели в огонь, с треском одна за другой там погибая. Я чуть было не подскочил от радости. Ведь прежде никакие мероприятия не помогали — вши оставались и очень быстро плодились, доставляя нам страда-

ния неслыханные. А тут я за десять минут обеззаразил все свое имущество. Счастье, да и только.

Потом я разбудил всех своих товарищей. Товарищи сгрудились вокруг печки и принялись уничтожать паразитов с тем же успехом, с каким они уничтожали контрреволюционную нечисть на всех фронтах гражданской войны. Ну, Пашка, ты герой, говорили они.

Одна лишь Мария Степановна конфузилась и не желала воспользоваться моим открытием.

— Что вы, Павел, меня ничто не беспокоит. Товарищи, оставьте меня в покое,— говорила она.

— Мария Степановна, дорогой товарищ, вы же не спите из-за проклятых насекомых,— сказал Иван Куняев, кавалерийский делегат.

— Да, я не сплю. Я думаю о завтрашней полемике с блоком Голявкина,— возразила она.

Однако глухой ночью, когда все уже счастливо и свободно сопели на нарах, Мария Степановна пробралась к печурке. Я открыл глаза и увидел, что сидит она в одном белье и подставляет под тягу свою гимнастерку, чутко прислушиваясь к звукам, которые могли бы донестись сквозь грохот колес.

Нары подо мной скрипнули, она вся встрепенулась и повернула ко мне свое чистое лицо с плачущими глазами. Я готов был провалиться сквозь нары, сквозь пол прямо на шпалы, но все-таки глядел на нее во все свои дурацкие буркалы, так она была хороша. В этот момент она была никакая не Мария Степановна, политический строгий товарищ, а нежная девушка Маша. Я, простой пастух, которого революция оторвала от идиотизма сельской жизни и бросила в напряженную борьбу, я тогда понял, как страшен ей, дочке директора гимназии, наш военный быт и какое у нее сильное мужество и верность идее. Она закусила губы и отвернулась от меня.

С этой ночи романические наши отношения были приостановлены, она стала суха со мной и строга, и не называла более Павлом, а звала Збайковым, товарищем Збайковым. Позднее, в 30-е годы (я был в то время председателем исполкома большого города и жил с семьей в шикарной квартире, имел персональный «форд»), в те времена я часто вспоминал покойницу,

когда кто-нибудь из семьи заводил полюбившуюся пластинку «Каховка»: «...и девушка наша проходит в шинели, горячей Каховкой идет». «Под солнцем палящим, под ночью слепую немало пришлось нам пройти»...

Да, тогда, в 30-е, что-то сжималось у меня внутри от этой песни, а сейчас даже плакать хочется, когда начинаю мурлыкать ее под нос. Мои дороги по всем фронтам гражданской и частые перемещения периода реконструкции, потом этапы до Воркуты и ссылка в Красноярском крае, и нынешняя моя спокойная жизнь персонального пенсионера в экспериментальном черемушкинском доме... Все чаще я стал сейчас предаваться воспоминаниям, и эта моя поездка не что иное, как воспоминание. Ведь я не был на родной Рязанщине более сорока лет.

3

В Рязань экспресс прибыл к вечеру. Люди, идущие по переходным мосткам над путями, были еще освещены солнцем, а перрон и встречающие были уже в вечерних сумерках. Меня никто здесь не встречал. Опять начались мои мытарства с чемоданом и рюкзаком. Привычки мои не позволяли обратиться за помощью к носильщикам. Не люблю я этого дела. Даже в бытность большим человеком я все время норовил сам ухватить свои чемоданы, вызывая этим удивление подчиненных.

— Поможем, папаша? — обратился ко мне носильщик, сам уже далеко не первой молодости. Я бодро улыбнулся, но на самом-то деле было мне тяжело. Силы уже не те.

С грехом пополам дотащил я вещи до камеры хранения, потом уточнил расписание — поезд на Рязск отправлялся завтра в полдень. Налегке я отправился в город и долго плутал по каким-то безлюдным перекопанным для прокладки теплофикационных труб улицам. Улиц этих я не узнавал, и тихая, чуть ли не секретная их жизнь была мне чужда.

Неожиданно я вышел на широкий, ярко освещенный проспект, по которому катили троллейбусы и такси и где стояли высокие дома. Двигаясь вдоль этого совсем уж мне незнакомого проспекта, я дошел до какой-то

большой гостиницы. Конечно, у входа висело солидное, золотом по черному, стационарное объявление: «Свободных мест нет». Пришлось мне воспользоваться документом — персональной книжкой старого большевика. Администраторша полистала мой документ, выглянула в окошечко и сказала:

— Прошу, гражданин, обождать: у меня вон люди из ящичков еще не устроены.

В креслах сидели четверо «из ящичков», мужчины в серых костюмах.

Так или иначе, но койку в двухместном номере я получил и был очень доволен, потому что не рассчитывал на такой успех.

В коридоре подвыпивший человек остановил меня:

— Папаша, зуб болит. Где врача найти?

— Не знаю, дорогой,— сказал я.

— Сам-то русский или из ГДР? — спросил он.

— Русский,— сказал я,— рязанский уроженец.

— Да-а,— протянул он задумчиво,— а зуб-то болит.

Придется в милицию обратиться.

Мы разошлись.

Ничто в этой гостинице не напоминало мне той милой моей Рязани, где когда-то «на заре туманной юности» изучил я основы политграмоты и получил военную подготовку. Гостиница была как гостиница, а в окна с улицы глядели безликие и безучастные неоновые вывески.

За ужином в ресторане я развеселился. Поразило меня меню. В разделе холодных закусок значились почти подряд такие блюда: салат из морской капусты, морской гребешок, салат «Дары моря». Континентальный этот город, видно, имел некую таинственную связь с Тихим океаном.

Утром я вышел на балкон и посмотрел вниз на проспект. По тротуарам торопливо сновали домохозяйки со связками длинных и странных, явно морских рыб.

Я поймал себя на том, что хихикаю, как турист, как столичный ферт, над провинциальными чудачествами незнакомого города. Еще раз я окинул взглядом ровную линию пятиэтажных домов и тут заметил в их ряду старую облупленную часовенку, в которой ныне помещалось, кажется, городское бюро справок.

Мимо этой часовенки бежали мы, щелкая затворами, мимо нее и мимо лабазов, мимо колониальной лавки Скворцова и К^о, мимо синематографа «Эльдорадо» бежало нас двадцать человек. В тот день мы вооружились по тревоге после сообщения о том, что нашего человека Ваньку Комарова арестовал на митинге проэсеровски настроенный полк.

Я помню застывшую на бесснежном морозе грязь, тучи пыли, поднятой ледяным ветром, огромную площадь перед нами, вымощенную булыжником, и в конце площади плотную толпу шинелей — эсеровский полк.

«Тут тебе и конец придет, Павлушка», — думал я на бегу.

Обошлось. Переорали, перематерили мы эсеровских агитаторов.

4

Утренний поезд на Ряжск был составлен из старых зеленых вагонов с узкими окнами. В вагонах было почти пусто — в моем сидели лишь три крестьянки в плюшевых черных жакетах. Они оживленно переговаривались. Впервые за все время своего путешествия я услышал подлинно рязанский глубинный напев их речи.

— Надьсь я иду, хляжу, а в тележке у яхо трава-а, — рассказывала про какой-то случай одна из них.

Это «х» или «г» было легким, мягким и теплым, словно летящий пух, словно чуть шершавое поглаживание матушкиных рук.

Я вспомнил покойницу, как растерялась она, маленькая старушка в нарядной своей панёве, на вокзале того города, где я верховодил в тридцатые, как отказывалась сесть в мой «форд» — «Я в ету тялежку не сяду», — как вечером в нашей большой квартире изрекла она мне конфиденциально: «Высоко ты забрался, Павлушка, а выше-то больней падать».

К концу войны сестра написала мне в лагерь, что матери у нас больше нет, что в сорок втором году, в голодуху и осеннюю темень, пошла она во двор, в уборную, сломала ногу и на другой день скончалась. А до конца войны ограничен я был в переписке.

Ряжский поезд двигался медленно, не то, что вчерашний экспресс, медленно мы выбирались из Рязани.

проезжая мимо кварталов новой застройки, чахлах сонных слобод, мимо разрушенных колоколен и промышленных объектов, пересекли реку и въехали в необъятные поля, ровно освещенные жарким спокойным солнцем. Индустрия словно платком на прощание взмахнула нам огромным языком пламени, полыхавшим в голубом небе над высокой черной трубой. Это бесхозяйственно жгли газ.

А потом пошла типина и маленькие станции, названия которых звучали для меня, как музыка — Старожилы, Верда, Скопин... Все это было тихой музыкой: станционные красные домики за березками, зевающий начальник станции, босой мальчишка, звонок колокола, по которому отправлялся поезд, и скрип дощатого низкого перрона...

5

В Ряжске был сборный пункт дезертиров. Набралось их здесь несколько тысяч. Это была разнузданная орда морально опустившихся, бешено орущих людей, а конвой наш был малочислен, слаб. Трудно сказать, почему они не перебили тогда нас, конвоиров. Должно быть, просто невозможно им было организовать даже для такого нехитрого дела: каждый орал свое, каждый был сам за себя, никто не хотел никого слушать, но каждый боялся пули сам для себя, по отдельности. Объединились они только в своей ненависти к комиссару, приехавшему с инспекцией из Москвы.

Мы вывели их за город, в поле, и кое-как организовали в огромное гудящее, как взбешенный улей, каре. Здесь была сколочена шаткая трибунка для высокого московского комиссара.

Он подъехал в большой черной машине, сверкавшей на солнце своими медными частями. Он был весь в коже, в очках и, что очень удивило нас, абсолютно без оружия. И спутники его тоже не были вооружены.

Он поднялся на опасно качающуюся трибунку, положил руки на перила и обратил к дезертирскому безвременному воинству свое узкое бледное лицо.

Что тут началось! Заревело все поле, задрожало от дикой злобы.

— Долой! — орали дезертиры.

— Приезжают командовать нами, гады!
— Сам бы вшей покормил в окопах!
— Уходи, пока цел!
— Эх, винта нет, снял бы пенсию проклятую!
— Братцы, чего ж мы смотрим в его паскудные окуляры?!

— Пошли, ребята!

Мы уже подняли винтовки для первого залпа в воздух, как вдруг над полем прокатился, как медленный гром, голос комиссара:

— Что это за люди?

Рукой он показывал на нас, конвоиров.

— Я спрашиваю, что это за люди с оружием? — снова прошел над нами голос, похожий на звук, что тянется за нынешними реактивными самолетами.

Дезертирство от неожиданности затихло, пораскрывало рты.

— Это конвой! — четко доложил один из его спутников.

— Приказываю снять конвой!

Он набрал полную грудь воздуха, очки его сверкнули, и он заревел еще более тяжелым, еще более гневным голосом, толчки которого словно отдавали у каждого в груди:

— Перед нами не белогвардейская сволочь, а революционные бойцы! Снять конвой!

В тишине, последовавшей за этим, над полем вдруг взлетела дезертирская шапка и чей-то голос выкрикнул одиночное «ура».

— Товарищи революционные бойцы! — зарокотал комиссар. — Чаша весов истории клонится в нашу пользу. Деникинские банды разгромлены под Орлом!

«Ура» прокатилось по всему полю, и через пять минут каждая фраза комиссара вызывала уже восторженный рев и крики:

— Смерть буржуям!

— Даешь мировую революцию!

— Все на фронт!

— Ура!

И мы, конвоиры, о которых все уже забыли, что-то кричали, цепenea от юношеского восторга, глядя на маленькую фигурку комиссара с дрожащим над головой кулаком на фоне огромного в полнеба багрового заката,

поднимающегося из-за горизонта, как пламя горячей Европы, как огонь американской, азиатской, австралийской, африканской революций.

Я вспомнил этот эпизод сразу же, как увидел большое желтое дореволюционное еще здание Ряжского вокзала. Ряжск и в те времена был крупной узловой станцией, таким он остался и сейчас. То и дело с обеих сторон его перрона появлялись дальние поезда, замыкая транзитных граждан в грохочущий коридор.

Здесь предстояла мне ночевка, потому что поезд на Ухолово отправлялся только на следующий день. Без особого труда я получил койку в «комнате отдыха» и отправился автобусом в город, который в пастушеской моей юности казался мне загадочной и шумной столицей, какой, скажем, сейчас мне представляется Париж.

Ранним вечером я прибыл в центр городка и стал свидетелем гуляния местной молодежи, среди которой тон задавали студенты-механизаторы. Столичный ширпотреб проник уже и сюда, и молодые люди мало отличались от тех, кого я вижу ежедневно из своего окна в Черемушках, но все же это была, конечно, уже не Рязань, это была глубинка, отдаленная периферия.

Я погулял немного, делая наблюдения.

Горожанам, должно быть, давно полюбилось слово «павильон». Точки общественного питания назывались здесь павильонами — павильон № 1, павильон № 2, павильон № 3. А в самом центре возле скверика помещался любопытный магазинчик под вывеской «Игрушки, венки». Сейчас на дверях висел замок.

«Нарочно не придумаешь, — подумал я, глядя на эту вывеску. — Продавец, должно быть, философ. Утром приходит, переставляет игрушки, зайчиков, мишек, целлулоидных пупсов, стряхивает пыль с венков, уж понятно, не лавровых, с гигантских роз и пионов, покрашенных тонким слоем стеарина, а то и с железных венков. Уж эти веночки мы знаем, элегантные, со звездочками, в былое время такие венки были в ходу для стальных людей, «сгоревших на работе». Станешь тут философом».

В последние годы я перенял у своей дочери и ее мужа манеру надо всем слегка посмеиваться. Дочка моя и ее муж, изъездившие чуть ли не весь мир, постоянно

надо всем хихикают, беззлобно, но постоянно, как будто этот чуть-чуть даже утомительный для посторонних юмор чем-то облегчает им жизнь. Лично я с этой привычкой борюсь. Что это такое — был серьезным всю свою жизнь, а на старости лет все — хи-хи да ха-ха.

Солнце еще освещало кафельные плитки бывшего особняка купцов Маркушиных, которых некогда мы с товарищами экспроприровали, когда вокруг сквера взревели мотоциклы механизаторов и бесшумно закружили велосипеды — молодежь стала разъезжаться. Я тоже покинул Рязск и отправился на станцию, где ждала меня койка за 70 копеек.

Всю ночь под окном пыхтел и отчаянно, как кавказский осел, кричал какой-то паровозик, а на соседней койке молодой парень крутил под одеялом свой маленький полупроводниковый приемник, завывала эта шумовая музыка, этот проклятый джаз, от которого у меня дома, в Черемушках, раскалывается голова.

— Молодой человек, — тронул я за плечо соседа, — давайте уж так — или вы, или он, — и показал ему в окно на паровоз.

— Извини, батя, — сказал парень, — такая у меня привычка. Заснуть не могу без легкой музыки. Сейчас засну.

Еще секунд десять визжали заморские трубы, потом щелкнул выключатель, парень захрапел, дико взревел паровоз, и я заснул.

Утром в необозримой комнате отдыха шли уже только разговоры о покосе, мужички увязывали узлы, и я понял, что это мои попутчики до Ухолова.

6

Ухоловский поезд был еще тише, чем рязский. Закрыв глаза, можно было бы представить, что двигаешься в телеге, если бы не близкое пыхтенье паровоза.

Напротив меня на лавке сидели три мужичка, соседи мои по комнате отдыха. Люди это были примерно моего возраста и что-то в их повадках, в жестах, в манере разговора подсказывало мне, что это уже ближние люди, может быть, даже из нашего села или из его окрестностей. Волновался я неслышанно, думая, как затеять

с ними разговор. Казалось мне, что они, толкуя о своих делах, как-то со значением на меня поглядывают.

— Вот и прикидывай, мужички, где интересней, — говорил один из них, красноносый дядя в лихо сдвинутой набекрень кепке. — Родькин, стало быть, зовет сам-десять, а в лесничестве кладут сам-шесть.

Родькин! У меня заколотилось сердце: это была фамилия из нашего села, мощный родственник нам, Збайковым, клан Родькиных.

— В лесничестве особ не размахнешься, — сказал сухощавый задумчивый человек. — Не размахнешься, говорю. Одни пни да кусты.

— О покосе разговариваете, товарищи? — осторожно спросил я.

— О нем, — охотно ответил третий, лукавый коротыш, самый почему-то знакомый из них. Двое других промолчали, и коротыш стушевался.

— Вот вы сказали Родькин, — набрался смелости я, — извините уж, невольно подслушал. Это не Михаила ли Родькина сынок?

Коротыш заерзал на лавке и смолчал, а сухощавый, внимательно взглядевшись в меня, спросил:

— Михал Андреева Родькина имеете вы в виду, гражданин?

— Да-да, Михал Андрев! — вскричал я, мгновенно какими-то вспышками вспоминая фигуру могучего мужика Михаила Родькина, не раз стегавшего меня за nabеги на его сад.

— Так этот Родькин, о котором мы гуторим, председатель наш, его внук, — строго сказал сухощавый.

— Так вы, может, из села Боровского, товарищи? — опять вскричал я.

— Мы вот с ним из Боровского, а этот товарищ из Канина.

— Так я ведь тоже из Боровского!

— Ага, — вежливо покивали мне мужички и, глядя в окно, принялись заряжать самокрутки. Молчание длилось долго. Я краснел и бледнел, как мальчишка, проклиная свою дурацкую шляпу и очки, и галстук, все свое городское обличье, видимо, вызывающее у них недоверие.

— А вы чей же будете? — наконец спросил сухощавый, самый авторитетный из них.

— Я Збайковых,— чуть ли не умоляюще сказал я.

— Устина Збайкова, стало быть, сын?

— Нет, Устин-то Збайков в Тивердинских выселках жил, а мы из Энгельгардовского общества.

— Ага, «Знамя труда», стало быть,— объяснил сухощавый канинскому крепышу.

— Петра Збайкова, покойного, я сын,— сказал я.

И вдруг красноносый, молчавший до сих пор, хлопнул шапкой по колену.

— Да уж не Павла ли Петровича вижу я перед собой? — гаркнул он.

— Да! Да, я Павел Петрович Збайков.

— Павел Петрович! Ну, поди ж ты! — засмеялся красноносый.— А меня-то не признаешь? Я ведь Сивков Григорий.

Сивков Григорий. Сивков Григорий. Сивковых помню из Ермолаевского общества, а Григорий?

— А ведь вместе в церковноприходскую школу ходили, фулюганили вместе,— старчески залукавился сверстник мой Григорий.

Не знаю уж, узнал ли я его или просто убедил себя, что узнал, но мы тут же стали вспоминать наши мальчишеские шалости, как будто прошло не сорок с лишним лет, а каких-нибудь десять. Мы говорили о разорении грачиных гнезд и о ловле карасей в барском культурном пруду, и о велосипеде податного инспектора — история и топография этих приключений полностью у нас совпадали, и я понял, что Григорий Сивков действительно принадлежал к нашей шайке.

— Сивков! — воскликнул я, вдруг на самом деле вспомнив.— У тебя ведь брат был мой тезка.

— Точно,— подтвердил Григорий,— признали наконец, Павел Петрович.

— Жив тезка-то?

— Кто его знает, жив ай нет? В тридцатом годе, как принято было у нас твердое решение, так он по жизни пошел. Слух был, что в казахстанской земле у него ноне хозяйство.

— А меня-то припоминаешь, Пал Петров? — спросил худощавый.— Я Савостин Михаил с Тивердинских выселок.

— Как же, помню, как же.

— А ты-то в тюрьме сидел, ай нет? — спросил Григорий. — Слух у нас был.

Невольно я усмехнулся и прикрыл глаза.

В июле 1937 года на бюро и повсюду сильно критиковали меня за притупление бдительности к врагам народа и даже стоял вопрос об объявлении мне партийного выговора, но возможности ареста я представить тогда не мог.

Веселым и жарким днем они приехали за мною.

Был день Военно-Морского Флота, и над детским парком напротив здания НКВД висели морские сигнальные флаги. Что составляли они, какие слова? Я не знал.

Вот так я и «пошел по жизни», по тюрьмам, по лагерям, по ссылкам, вплоть до 1955 года, до восстановления справедливости.

Этот детский парк я видел иногда из зарешеченного окна следователя во время допросов. Детский тот парк разбит был по моему распоряжению, проект его я обсуждал с городским архитектором, с комсомольцами-пионервожатыми. Коники его и слоники часто мерещились мне в камере после допросов, когда я отдыхал от применения ко мне «активного следствия», изобретения наркома Ежова.

В ту пору был у нас первым секретарем обкома Аугуст Лепиньш, из латышских стрелков, дельный, работоспособный товарищ, хороший организатор. Как раз перед арестом он очень сурово меня критиковал за притупление и даже, единственный в составе бюро, настаивал на исключении из партии. А ведь были мы с ним старые уже товарищи, вместе участвовали в коллективизации, проводили это самое «твердое решение» в жизнь, да и жены наши дружили. Принципиальным этот был Лепиньш, никого не щадил, включая себя самого.

Однажды в тюремном коридоре послышался какой-то шум, звуки ударов, лязг, и мы услышали голос Лепиньша.

— Коммунисты! — кричал он. — Говорит Аугуст Лепиньш! Я арестован! Приказываю всем держаться! Это чудовищная провокация! Товарищ Сталин...

Мимо нашей камеры проволокли его затихшее тело.

На следующем допросе мои лейтенанты, совсем осатаневшие мальчишки, криво улыбаясь, сказали:

— Привет тебе передавал Лепиньш. Признался, что вместе с тобой шпионил для Японии.

В это время активно уже работал тюремный телеграф, ложкой по трубам отопления. Все быстро им овладели, помог дореволюционный еще опыт некоторых товарищей. Однажды сверху кто-то простучал сообщение: «Лепиньш передает Збайкову. Он умирает, просит его простить. Просит не верить клевете. Прощай. Да здравствует партия!»

Так погиб мой товарищ Аугуст Лепиньш.

— Да,— улыбнулся я односельчанам,— сидел и я. Реабилитировали.

Покивали мы головами, закурили самосаду.

— Течение жизни,— глубокомысленно изрек канинский коротышка Трофим.

— Ну что ж, старички, надо бы выпить,— предложил я и вытащил десятку.

До Ухолова ходу нам было еще часа два, и на станции Еголдаево Трофим добежал до сельпо и вернулся с тремя пол-литрами и с кульком хамсы.

Поставлен был между лавками чемодан, Григорий вытащил сало, оказалось, что и стопарики гранены он как раз закупил в Ряжске, словом, все было в ажуре.

Односельчане к выпивке были охочи, но и крепки, строги. Канинский же Трофим заулыбался, закричал: «Эх, час без горя»,— и хватил. Он и захмелел прежде всех, а Григорий и Михаил Савостин вели со мной серьезный разговор, расспрашивали о Москве, как там с продуктами, делились видами на урожай, критиковали Родькина-внука, а также районное начальство. Однако воспоминания то и дело перебивали этот наш злободневный разговор.

— Эх, Пал Петрович, как я помню твою матушку,— хмельным уже голосом говорил Григорий,— бывалача, встретит она меня, паренька, и гуторит: «Ума у тебя, Гриша, палата, а дури Саратовская степь». А я тогда по девкам все шалил. Это уж после того было, Пал Петров, как ты у нас отвоевал и в другие места подался революцию ставить. Потом и меня мобилизовали, отняли у девок.

— Эх, спую я сейчас тебе, Пал Петров! — воскликнул вдруг Трофим и тонким голосом сразу взял верха. — Во-о суббо-оту-у...

— Дед Трофим, дед Трофим! — попыталась урезонить его проходящая по вагону молодуха, но мы уже все пели, старые дурни.

Во субботу, во субботу,
В день ненастный,
Нельзя в поле,
Нельзя в поле,
В поле работать..

И так мы доехали до Ухолова.

7

В Ухолове друзей моих прекрасных ждали две расчудесных подводы. Взгромоздился я на одну подводу с Григорием, другом моим замечательным, и мы прокатили по городу Ухолово, по прекрасному этому центру, где рельсы уже совсем кончаются, а паровозу путь один — пятиться назад.

Был я в весьма приподнятом состоянии и не фиксировал внимания на разных мелочах, заметил лишь рядом с новым зданием клуба старую колокольню, у подножия которой на площади устраивались, бывало, наши уездные ярмарки.

Я вспомнил ярмарку, на которой был впервые двенадцатилетним мальчиком. Ошеломило меня тогда скопление людей и лошадей, мелькание разгоряченных веселых лиц, погоня за воришками, цыган с медведем, городские сладости и, главное, карусель, сумасшедшее вращение которой надолго стало для меня символом праздничной яркой жизни, отличной от будней нашего села.

Героями той ярмарки оказались наши боровские парни, три брата Бычковы, люди чудовищной физической силы. Начали они драку оглоблями и дрались долго, упорно и основательно, многих покалечили. Ухоловские городовые и мужики-добровольцы справиться с ними не могли. Не помогло вмешательство и самого станового. Бегая по площади со свистящими оглоблями

21

над головами, гиганты Бычковы мешали ярмарке функционировать.

Кто-то из боровских догадался сбегать за их матушкой, которая в это время чай распивала у своей ухоловской кумы. Прибежала мать Бычкова, маленькая старушечка, вскинула сухонький кулачок и как крикнет Федору, старшему брату:

— Никшни! Игрец тебя разбери!

И тут же братья положили оглобли и затряслись от страха.

— Сымай порты, супостаты! — закричала старушка. — Ложись.

Взяла она хворостину и начала хлестать братьев по голым мощным задам, а братья горько плакали и просили прощения.

Очень ярко мне это запомнилось: шесть здоровенных прыщеватых ягодиц, маленькая старушка с хворостинной и гогочущая ярмарка вокруг.

— Помнишь, на ярмарке были здесь, Павлуша? — спросил Григорий, кивая на белую от солнца площадь. — Бычковых братьев помнишь?

И мы затряслись от смеха, а возница, зять Сивкова, недоуменно на нас обернулся. Ухолово проехали мы быстро, и открылись родные мои веси, ничуть не изменившиеся за эти сорок с лишним лет, если не считать перетяжки высоковольтной линии, да реактивных про черков в необозримом небе.

Григорий все прыгивал с телеги, щупал овес, пшеницу, королеву полей. Однажды во время очередного его прыжка я почувствовал вдруг что-то такое давнее свое, такую тоску, что бывала у меня лишь в первые годы моей иной, не крестьянской деятельности, точнее говоря, почувствовал я тоску по земле, голос пращуров.

Спустя некоторое время то ли сердечная слабость, то ли похмельная усталость подействовали, размяк я и заснул, невзирая на ухабы нашей дороги, которая за сорок лет не улучшилась.

Спал я тяжело, изредка вздрагивая и представляя, какой у меня неприглядный вид в этот момент, как съехали очки и отвалилась челюсть, но сил взбодриться не было никаких, и я снова засыпал.

Проснулся я от голоса Григория, открыл глаза, сел

и словно в сновидении увидел огромное наше село, растянувшее свои тихие дворы чуть ли не на пять километров, осокори над речкой Мостей и прихотливый ее извив, а при приближении опять же как во сне увидел я старуху в нашей боровской поневе, которая гнала гусей, и плеск гусей в искрящейся Мосте и уже совсем-совсем как в глубоком сне увидел я свой дом.

8

Дом этот крепко был поставлен дедом моим Василием Ивановичем Збайковым. Он был кирпичным, как большинство домов в нашем селе, где дерево ценилось дороже кирпича. Над входом дед Василий умудрился белым кирпичом выложить узорного петуха. Петух этот остался и ныне.

Ныне хозяином в доме был Севастьян Васильевич Збайков, младший брат моего отца, глубокий уже старик, лет под 90. Дом кипел его детьми, невестками, зятьями, внуками, правнуками. Одни жили вместе с ним, другие прибежали со стороны. Готовилась праздничная гулянка в честь моего приезда. Павлуша, Пал Петров, дядя Павел, дедушка Павел, неслоь ко мне со всех сторон.

В доме был некоторый достаток, о чем свидетельствовала железная крыша, швейная машинка, велосипеды у молодежи. Приусадебный участок являл собой чудо агротехники: лук, помидоры, огурцы, ягоды — все это было крупное, красивое, одно к одному. А через межу желтел пожухлыми лопухами огромный колхозный огород. Просто непонятно было, какая культура на нем произрастает.

— Почему это так, дед Севастьян? — спросил я своего дядю.

— Да видишь, Павлуша, какая печаль, — зашамкал старичок, — худое это поле. Надо было на ем овес с ви- кой сажать, а с району Родькину председателю дают наказ — сажай свеклу. Родькин им гуторит: не вырастет свекла, под овес-де хочу эти площадь, — а они ему: у нас план по свекле трещит, сажай или партийный би-

лет на стол. Значить, произрастает одна лебеда, а они Родькину звонят — пропальвай свеклу, а у нас план прополки трещит. Вишь, Павлуша, у них там все трещит, а у нас круговорот получается.

«Какая бесхозяйственность! — подумал я. — Голово-тяпство! Съезжу я, пожалуй, в Рязк к секретарю производственного управления».

И вот пошел я с того дня вникать в колхозные дела, портить жизнь Родькину, мужику толковому и крепкому, но несколько растерянному. С утра отправлялся я в полевые бригады, на фермы, беседовал с механизаторами, животноводами, полеводцами, агрономом, лекции читал, ходил на собрания партийной группы колхоза, в общем, функционировал. За две недели привыкли ко мне в селе, хотя, может быть, кое-кто и посмеивался над неугомонным городским старичком.

Как же так получается, думал я. У колхозников на своих участках чудеса агротехники, а на артельную работу выходят они лишь «за колы», «за птички», то есть за трудовни, по которым они почти что ничего не получают. А получают они мало, потому что рук не прикладывают, а рук не прикладывают, потому что мало получают. Действительно, получается круговорот. Порочный круг.

Собирался я по возвращении войти с докладной запиской в Центральный Комитет, но для этого надо было мне глубже вникнуть в колхозные дела, и я вникал.

А вечерами водили меня по избам, по родственникам, а родственников у нас, Збайковых, почитай, полсела. Тишковы, Родькины, Бычковы, Сивковы — все это наши родственники.

Много было выпито казенной и неказенной, а также браги, квасу, настоек, съедено сала и грибков. Приходили старики, ровесники Севастьяна Васильевича, помнившие меня еще, когда я был «от горшка два вершка». Старики это были жилистые, коричневые, в линиях чистых косоворотках, в картузах, прямой посадкой и манерами похожие на николаевских еще солдат.

В тихом вечернем свете древняя тетка Солонья, известная с незапамятных времен как первая певунья, дребезжащим голоском заводила пёсню.

— На проклятый ах да на Кавказ, — рывкали подхват старики, дети покорителей дикого горного массива.

Сверстников моих было мало. Сильно было повыбито наше поколение, многих по войнам раскассировали, многие «по жизни пошли», а иные уже и нормальным тихим путем переселились в мир иной.

Молодежь смотрела на нас со стен, сияя флотскими регалиями, боцманскими дудками и значками классных специалистов. По неведомым соображениям лишь на флот набирались парни из нашего села, где Мостю курица вброд переходит.

9

Однажды я возвращался с полевого стана и шел по безлюдному проселку, приближаясь к задам нашей части села, которая прежде именовалась Энгельгардовским обществом, а потом «Знамя труда», по имени маленького колхоза, влившегося позднее в укрупненный единый для всего села колхоз имени 17-го партсъезда.

Солнце клонилось уже к закату, но улицы были еще пустынные, неподвижны были колодезные журавли, и лишь с Мости доносились крики гусей и ребят.

Было мне хорошо и привольно. К тому времени я давно уже расстался с галстуком и дурацкой своей шляпой, ходил в картузе Севастьяна Васильевича и в распахнутой на груди рубашке.

Надо сказать, что и речь моя сильно стала меняться, все чаще стал в ней появляться ухоловский распев, все чаще я стал употреблять слова «надьсь», «вечор», «летось».

Итак, тропинкой я прошел между огородами и вышел на улицу, когда услышал вдруг тихий голос:

— Здорово, Павел Петрович!

Я оглянулся, ища, откуда прозвучал этот голос, и увидел сидящего у изгороди на чурбаке старого человека.

— По всем ты ходишь, Пал Петров, а ко мне и не зайдешь,— с ухмылкой произнес этот человек.

Лик его был бугрист и неотчетлив, выделялись крупный нос и густейшие полуседые брови, из-под которых лишь изредка поблескивала капельная голубизна.

— А вы кто ж такой будете? Чей? — спросил я, подходя.

Был он мало опрятен, кое-где серая его туалетно-поровая рубашка была порвана, а кое-где заплата грубыми стежками, а в уголках его рта запеклась слюна. Словом, не ахти какой приятный человек сидел передо мной.

— Адриана Тимохина ай не помнишь? — еще раз усмехнулся он, и на этот раз его усмешка оказалась не вызывающей, а какой-то жалкой, оборонительной.

По этой усмешке я его и вспомнил, но не по имени.

— Дикой! — вскричал я, пораженный.

— Во-во, Дикой... Меня и ноне так дразнят.

Я сразу вспомнил того мальчика, которого мы прозвали Дикой. Мы с ним учились вместе в церковноприходской школе. Это был странный мальчик, некрасивый и хилый, но не тем он был странен, а тем, что все время уединялся, все время сторонился нас, сорванцов, чуждался и пугался, за что и получил кличку «Дикой». Все он что-то строгал, чинил, мастерил, соединял какие-то колесики, пружинки. Большую часть времени он проводил в заброшенной полуразвалившейся баньке. Смотрел он в землю.

Естественно, что был он козлом отпущения среди ребят. Мало кто не дергал, не стучал его по голове, не щипал, не дразнил. Он все сносил и только еще больше замыкался.

Было нам лет по двенадцати, когда однажды, томясь от безделия, мы решили совершить налет на его баньку и узнать, чем он там занимается.

Давясь от смеха, мы поползли к ней огородами, окружили, распахнули дверь и увидели Дикого. Он стоял лицом к нам с расширенными от ужаса глазами, а за спиной его в полосах света, проникающих в щели, крутились какие-то большие и малые колеса, ритмично хлопали какие-то дощечки, скрипели ременные передачи, словом, действовала какая-то хитрая машина, какой-то агрегат.

В мгновение ока мы разрушили эту конструкцию, дико хохоча, мы разорвали передачи, поломали колесики, поплясали на обломках и остановились, не зная, что делать дальше.

Дикой лежал ничком на земляном полу и плакал. И тут впервые перехватило мне горло от жалости к человеку, от нежности к нему, к его уединенной жизни,

от невыразимого желания немедленно, сейчас же восстановить справедливость, сделать этого мальчишку сильным и гордым.

— Дикой, миленький, вставай! Ну, давай мы вместе починим эту твою хреновину,— закричал я.

Он встал и вышел из баньки. Больше он туда не возвращался.

С того времени я взял его под свою опеку, не давал его обижать, не раз дрался из-за него, но он по-прежнему дичился, к себе не допускал.

В 1917 году в нашем селе стали появляться сначала эсеровские, а потом и социал-демократические агитаторы. Впервые мы услышали слова о равенстве, о справедливости и решили сколотить революционный отряд. Я звал Дикого в этот отряд, но он лишь улыбался и отмалчивался.

Через несколько месяцев мы ушли из села усмирять мятеж белых в Рязани. Я весь горел тогда, я жаждал немедленной справедливости для всех, хотел немедленно сделать своих односельчан свободными и гордыми, с волнением я сжимал в руках винтовку, не зная, что покидаю свое село навсегда. Дикого после этого я не видел, не слышал о нем, да и не вспоминал.

И вот сейчас мы встретились. Я подсел к нему и предложил папиросу. Он не курил. Тогда в замешательстве пригласил я его в чайную выпить.

— Я не пью, Пал Петров,— сказал Дикой.— Давай просто так покалякаем.

— Давай покалякаем,— сказал я, закуривая.— Ну, как ты живешь, Адриян?

— Живу — хлеб жую. Ты-то как?

— Да я что, как ты живешь?

— Я все тут живу, в Боровском.

— Как же это так? — спросил я.— Небось помотало и тебя по белу свету немало?

— Обошлось,— сказал он.— Не сдвинули меня.

— Не может быть! — воскликнул я.

— В армию по здоровью не брали,— спокойно сказал Дикой,— а в тридцатом годе, когда с твердым решением пришли, так я им сам все добро отдал. И самовар, и граммофон, и зеркалу...

— Неужели ты все шестьдесят четыре года в Боровском просидел?

— В Ухолово езжу. В магазин.

Мы замолчали. Дикой на меня не глядел, глядел по своему обыкновению в землю. Был он, видимо, смущен встречей со мной и ковырял землю чурбашкой. Потом вынул ножик, принялся чурбашку эту строгать.

«Так всю жизнь он и прострогал,— подумал я.— Ужас-то какой».

Над нами в чистом необъятном небе двигались две сверкающие точки, таща за собой прямые белые следы. Звено истребителей. Дикой посмотрел в небо.

— К дождю,— сказал он, кивая вслед самолетам.

— Что к дождю, Адриян?

— Примета у меня такая. Если след от аппарата линейный, твердый — к ведру, а ежели чуть расплывается — к дождю.

— Наблюдатель ты, Адриян,— сказал я.

— Ага,— вдруг твердо как-то и, может быть, даже с некоторым вызовом сказал он,— наблюдатель. Всю жизнь наблюдаю и баста. Звали меня в начальники, ну нет, тигрой лютой я быть не могу.

Щелки полетели из-под его ножа в разные стороны.

«Со мной, что ли, он спорит? — подумал я.— Вряд ли. Должно быть, это старая его боль».

— Когда же тебя в начальники звали, Андриян?

— В тридцатом годе, что ли,— хмуро ответил он.

Чурбашка под его ножом превращалась в станок рубанка.

— В колхозе-то состоишь или единоличник?

— Состою. Пособляю им по плотницкой да по столярной части.

— А семья, Адриян, у тебя есть? — осторожно спросил я.

— Один я,— сказал он.— Почитай два года уж как овдовел, а сынок в Донбассе мастером на шахте служит. Да ты о себе-то расскажи, Пал Петров, как ты-то? Робыта есть у тебя, ай времени не было завести?

— Дочка,— сказал я.— И внуки уже есть. Мальчик и девочка.

— А чем она, твоя дочка, занимается? Бабы в городах ныне ученые. Может, физик она у тебя, ай химик?

— Она артистка.

— Артистка?

— Танцорка она у меня.

— Небось в Большом театре?

Настала моя очередь замяться.

— Да нет, понимаешь, Адрияи, специальность у нее оригинальная. Она танцует, но только на коньках, на льду, понимаешь...

— Фигурное катание, что ли? — спросил Дикой.

— Ну да, — обрадовался я, — вот это самое. И дочка и зять, вместе они, парное катание... Сначала чемпионками были, а теперь в ансамбле.

— Хорошо! — сказал Дикой. — В кино я видел. Фантазия! Ну, а ты-то сам как жизнь прожил?

— Я? Эх, Адрияи, долго рассказывать.

— Слух у нас был, что ты в тюрьме сидел. Это небось в 37-м тебя упекли, когда партийную кадру брали?

— Да, Адрияи, в тридцать седьмом. В общем, жизнь я прожил нелегкую, но другой не хочу.

Опять мы замолчали. Закат уже поднимался над ветлами и осокорями. Скрипели колодезные журавли. Прошли раздутые, усталые от солнца коровы.

— Да-а, — протянул Дикой, — а мне даже в тюрьме не пришлось посидеть.

Я даже вздрогнул, представив себя на минуту на его месте. Если бы я не ушел тогда из села с винтовкой, если бы не валялся я в сыпняке, если бы не кричал я с трибун, не ездил в «форде», не сменил бы трех жен, если бы не лупили меня следователи в НКВД, если бы не замёрзал я на лесоповале, если бы все свои 64 года сидел бы я вот вечерами и созерцал движение облаков, редких прохожих, домашнего скота... Если бы жизнь моя посвящена была не великой идее, а лишь такому вот созерцанию. Нет уж, увольте. Конечно, каждому свое, а мне — мое, мне — моя жизнь, вся в огнях.

— Да что мы, Пал Петров, все на воле сидим, — сказал Дикой, — зайдем в избу.

И мы, одинаково с ним крикнув, разогнули затекшие спины.

В избе его красный квадрат заката дрожал на грязной запущенной стене. Прямо в горнице стояла бочка, откуда Дикой зачерпнул ковшом воды. Пахло мышами,*

пустотой, мерзостью запустенья. Этого я и ждал.

Лишь стол удивил меня. Он был завален какими-то брошюрами, катушками проволоки, изоляторами, инструментом, на нем стоял огромный ящик, сколоченный из тонких досок, с какими-то прорезями, глазками и со шкалой радиоприемника. Это и был радиоприемник, как я понял.

— Кто это тебе радио смастерил? — спросил я.

— Да я сам собрал. Я этим делом, Пал Петров, очень увлекаюсь.

Дикой пошарил где-то рукой, щелкнул рычажок, ящик осветился изнутри и сразу загудел.

— Чего желаешь послушать, Москву ай Париж?

— Что же, он и Париж берет?

— Берет чисто, и Лондон берет, Би-би-си, а то один раз знаешь что я поймал? Страшно сказать — Гонолулу!

— Будет тебе, Адриан.

Он повел какой-то рычажок, и грязная, мрачная, может быть, даже страшная его изба наполнилась звуками современного мира. Я почувствовал какую-то удивительную мощь в этом уродливом приемнике.

«Все-таки огромный, должно быть, талант был у человека, — подумал я. — Ведь малограмотный мужик, а собрал такую штуку. Как жалко, что все это так пропало без толку».

Загрохотал черемушкинский наш проклятый джаз, и я попросил Дикого выключить приемник.

— Не угощаю тебя, Пал Петров, — сказал Дикой, — харчи у меня неприятные. Иной раз самому противно. Баба померла, жалко.

— Я тебе детали пришлю из Москвы, какие хочешь, — сказал я.

Он даже замычал от радости.

— Вот за это спасибо, Павлуша, — сказал он, — благодарствую.

Впервые он назвал меня Павлушей.

— Я тогда тебе напишу, какие лампы мне нужны и что еще. А то ведь все в обломках приходилоськовыряться.

— Скажи, Адриан, — спросил я его, — а тебе не страшно тут одному спать в этой избе?

Какая-то удивительная печаль охватила меня и жалость к этому человеку, боль за него. Вот он лежит один

в темноте долгие ночи и даже вспомнить ему нечего.

— Бывает страшно иногда, когда о кончине думаю,— легко сказал он, все еще, видимо, радуясь моему обещанию,— но это редко, Павлуша.

— В бога веруешь? — спросил я.

— В бога — не в бога, а в высший дух верую. В тонкое вещество.

— Как же это так получается, Адрияша? Собираешь ты такие сложные аппараты, а веришь в разную чепуху.

— Так уж, верую,— уклончиво произнес он, встал и зажег свою маленькую тусклую, засиженную мухам лампочку.

— Скажи, Адрияш, вот жизнь наша уже на закате, доволен ты своей жизнью?

Он походил, потоптался, вздохнул. Я наблюдал за ним.

— У меня жизнь с интересом, Пал Петров,— сказал он вдруг дрожащим от волнения голосом.

— Радио, что ли? — спросил я.

— Да, радио и еще одна штука.

Руки даже у него тряслись, так он волновался.

— Что же это за штука?

— Пойдем,— сказал он решительно,— покажу. Тебе первому покажу.

Мы вышли из горницы, прошли через хлев, где стояла одинокая его скотина, старая дебелая коза, вышли во внутренний дворик, когда-то, должно быть, кишевший гусями и утками, а сейчас пустой, и остановились перед дверью сарая.

Дикой долго возился с ключами, снимая замки. Наконец он открыл двери. За ними было темно и только слышалось какое-то слабое ритмичное шелканье. Дикой пошарил рукой, включил электричество, оно сперва ослепило меня, а потом я увидел...

Я увидел ту хитрую машину, которую когда-то мы разломали в баньке. Конструкция была все та же в принципе, но только более сложная, более величественная. Машина была в движении, вращались колеса, большие и малые, бесшумно двигались спицы-рычаги, тихо скользили по блокам ременные передачи, и только слабо пощелкивала маленькая дощечка.

— Помнишь? — шепотом спросил Дикой.

— Помню,— тоже шепотом ответил я.

Дощечка щелкала, словно отстукивая годы нашей жизни во все ее пределы, а также за пределами, вперед и назад, и неизвестно уже куда катили эти бесшумные колеса...

Мне стало не по себе.

— Забавная штука, — сказал я насмешливым голосом, чтобы взбодриться. — Для чего все-таки она? А, Дикой?

Я впервые назвал его Диким.

— Просто, Павлуша, для движения, — опять же шепотом ответил он, не отрывая взгляда от колес.

— Когда же ты ее пустил? — опять же насмешливо спросил я.

— Когда пустил? Давно, очень давно. Вот видишь, не останавливается.

— Что же это: вечный двигатель, что ли?

Он повернулся ко мне, и глаза его страшно сверкнули уже не под электричеством, а под светом ранней луны.

— Кажись, да, — прошептал он. — Кажись, да.

В Рязани грибы с глазами,
Их едят — они глядят,

— Да-да, есть такая теория, вернее, гипотеза. Предполагается, что спутники Марса — Фобос и Доймос несколько тормозятся атмосферой этой планеты. Следовательно, внутри они полые, понимаете? А полые тела, как известно, могут быть созданы только... как?

— Только, только... — залепетала, словно школьница, первая дама.

— Только искусственным путем.

— Боже мой! — воскликнула более сообразительная вторая дама.

— Да, искусственным. Значит, они сделаны какими-то разумными существами.

Я смотрел на человека, который рассказывал столь интересные вещи, и мучительно пытался вспомнить, где я видел его раньше. Он сидел напротив меня в купе, покачивал элегантно вскинутой ногой. Он был в синем, достаточно модном, но не вызывающе модном костюме, в безупречно белой рубашке и галстук в тон костюму. Все в нем показывало человека не опустившегося, да и не собирающегося опускаться, к тому же и лет ему было не так уж много — максимум 35. Некоторая припухлость щек делала его лицо простым и милым. Все это не давало мне ни малейшей возможности предполагать, что я его где-то встречал раньше. И только то, что он иногда как-то странно знакомо кривил губы, и временами мелькающие в его речи далекие и знакомые интонации заставляли приглядываться к нему.

— Последние находки в Сахаре и Месопотамии позволяют думать, что в далекие времена на Земле побывали пришельцы из космоса.

— Может быть, те самые марсиане? — в один голос ахнули дамы.

— Не исключена и такая возможность, — улыбаясь, сказал он. — Не исключена возможность, что мы прямые потомки марсиан, — весело закончил он и, оставив дам в смятенном состоянии, взялся за газеты.

У него была толстая пачка газет, много названий. Он просматривал их по очереди и, просмотрев, клал на стол, придавливая локтем.

За окном проносились красные сосны и молодой подлесок, мелькали яркие солнечные поляны. Лес был теплый и спокойный. Я представил себе, как я иду по этому лесу, раздвигая кусты и путаясь в папоротниках, и на лицо мне ложится невидимая лесная паутина, и я выхожу на жаркую поляну, а белки со всех сторон смотрят на меня, внушая добрые скудоумные мысли.

Все это почему-то самым решительным образом противоречило тому, что связывало меня с этим человеком, укравшимся за газетой.

— Разрешите посмотреть, — попросил я и легонько дернул у него газету. Он вздрогнул и выглянул из-за газеты, и тут я сразу его вспомнил.

Мы учились с Ним в одном классе во время войны в далеком перенаселенном, заросшем желтым грязным льдом волжском городе. Он был третьегодник, я догнал Его в четвертом классе в 43-м году. Я был тогда хил, ходил в телогрейке, огромных сапогах и темно-синих штанах, которые мне выделили по ордеру из американских подарков. Штаны были жесткие, из чертовой кожи, но к тому времени я их уже износил, и на заду у меня красовались две круглые, как очки, заплаты из другой материи. Все же я продолжал гордиться своими штанами — тогда не стыдились заплат. Кроме того, я гордился трофейной авторучкой, которую мне прислала из действующей армии сестра. Однако я недолго гордился авторучкой. Он отобрал у меня ее. Он все отбирал у меня — все, что представляло для Него интерес. И не только у меня, но и у всего класса. Я вспомнил и двух Его товарищей — горбатого паренька Леку и худого, бледного, с горячими глазами Казака. Возле кинотеатра «Электро» вечерами они продавали папиросы ранын и каким-то удивительно большим, огромным женщинам. Я дружил с Абкой Циперсоном, и мы с ним часто ходили в кино — пролезали через угольную яму и устраивались на балконе возле аппаратной. Боже ты мой, Джордж из Динки-джаза, и Антоша Рыбкин, и жалкий, вечно попадающий впросак Гитлер, к которому только подойти, дать ему промеж рог — и дух из него вон. Но настоящий Гитлер был не такой, мы это знали и, сидя в темноте возле аппаратной, придумывали казнь настоящему. Посадить его в клетку и возить по всем городам, чтобы люди плевали и бросали окурки. Нет,

лучше опустить его в расплавленный свинец, а вот еще в Китае есть хорошая казнь под названием «Тысяча кусочков».

Когда мы выходили из кино, мы постоянно наталкивались на них. Они попрыгивали с ноги на ногу и покрикивали:

— Эй, летуны, папиросы есть!

Мы с Абкой старались обойти их, укрыться в тени, но они нас и не замечали. Вечером они не узнавали нас, словно мы не учились с ними в одном классе, словно они не отбирали у нас каждый день наших школьных завтраков.

В школе нам каждый день выдавали завтраки — липкие булочки из пеклеванной муки. Староста нес их наверх в большом блюде, а мы стояли на верхней площадке и смотрели, как к нам плывет из школьных холодных недр, из горестных глубин плывет это чудесное блюдо.

— Правда, интересное событие? — сказал я Ему и показал то место в газете, где было сказано о событии.

Он заглянул, улыбнулся и стал рассказывать мне подробности этого события. Я кивал и смотрел в окно. Мне было трудно смотреть в Его голубые глаза, потому что они каждый день встречали меня за углом школы.

— Давай, — говорил Он, и я протягивал Ему свою булочку, на которой оставались вмятины от моих пальцев.

— Давай, — говорил Он следующему, а рядом с ним работали Лека и Казак.

Я приходил домой и ждал младшую сестренку. Потом мы вместе ждали тетю. Тетя возвращалась с базара и приносила буханку хлеба и картошку. Иногда она ничего не приносила. Тетя дралась за нас с сестренкой с покорной, вошедшей уже в привычку яростью. Каждое утро, собираясь в школу, я видел, как она проходит под окнами, широкоплечая и низкая, нос картошкой, а тонкие губы сжаты.

Однажды она сказала мне:

— Нина приносит завтраки, а ты нет. Рустам приносит и все ребята с того двора, а ты съедасишь сам.

Я вышел во двор и сел на поломанную железную койку возле террасы. В сером темнеющем небе над липами кружили грачи. За забором шли военные девушки-

ки. И пока за туманами виден был паренек, на окошке у девушки все горел огонек. Чем питаются грачи? Насекомыми, червяками, воздухом? Им хорошо. А может быть, у них тоже есть кто-нибудь такой, кто все отбирает себе? Флюгер над нашим домом резко скрипел. Низко над городом шли пикировщики. Что будет со мной? Всю ночь тетя стирала. Вода струилась за ширмой, плескалась, булькала. Темнели омуты, гремели водопады, Гитлер в смешных полосатых трусах захлебывался в мыльной воде, тетя давила его своими уловатыми руками.

На следующий день произошло событие. Булочки были смазаны тонким слоем сала «лярд» и посыпаны яичным порошком. Я вырвал из тетрадки листок, завернул в него булочку и положил ее в сумку. За углом, сотрясаясь от отваги, я схватил Его за пуговицу и ударил. Абка Циперсон сделал то же самое и кое-кто из ребят то же. Через несколько секунд я лежал в снегу, Казак сидел верхом на мне, а Лека совал мне в рот мой же завтрак.

— На, смелей, кусни!

— Вот вся суть этой истории,— сказал Он.— Я это знаю потому, что мой близкий друг имел к этому некоторое отношение. А в газетах только голая информация, подробности события часто ускользают, это естественно.

— Понятно,— сказал я и поблагодарил Его: — Спасибо.

Рядом мило щebetали дамы. Они угощали друг друга вишнями и говорили о том, что это не вишни, что вот на юге это вишни, и неожиданно выяснилось, что обе они родом из Львова, боже мой, и вроде бы жили на одной улице и, кажется, учились в одной школе, и совпадений оказалось так много, что дамы в конце концов слились в одно огромное целое.

На другой день, когда кончился последний урок, я положил тетрадки в сумку и оглянулся на «Камчатку». Казак, Лека и Он сидели вместе на одной парте и улыбались, глядя на меня. По моему лицу они, видимо, поняли, что я снова буду отстаивать свой завтрак. Они встали и вышли. Я нарочно долго сидел за партой,

ждал, когда все уйдут. Мне не хотелось снова вовлекать в это бессмысленное дело Абку и других ребят. Когда все ушли, я проверил свою рогатку и высыпал из сумки в карман запас оловянных пуль. Если они снова будут стоять за углом, я выпущу в них три заряда и наверняка попаду каждому в морду, а потом, как Антоша Рыбкин, четким и легким приемом схвачу одного из них за ногу, может быть Леку или Казака, но лучше Его, и опрокину на спину. Ну, а потом будь что будет. Пусть они меня избьют, я буду делать это каждый день.

Я медленно спускался по лестнице, перебирая в кармане оловянные пули. Кто-то прыгнул мне сверху на спину, а впереди передо мной вырос Он. Он схватил меня пятерней за лицо и сжал. Снизу кто-то потянул меня за ноги. Слышался легкий презрительный смех. Работа шла быстрая. Они стащили с меня сапоги и размотали все, что я накручивал на ноги. Потом они развесили все это дурно пахнущее тряпье на лестнице и стали спускаться.

— Держи сапоги, смелый! — крикнул Он, и мои сапоги, смешно кувыркаясь, взлетели вверх. Весело смеясь, шайка удалилась. Завтрак мой прихватить они забыли.

— Разрешите пригласить вас отобедать со мной в вагон-ресторане, — сказал я Ему.

Он отложил газету и улыбнулся.

— Я только что хотел сделать это по отношению к вам, — сказал Он. — Вы меня опередили. Позвольте мне пригласить вас.

— Нет-нет! — охваченный огромным волнением, вскричал я. — Как говорится в детстве, чур-чур. Вы меня понимаете?

— Да, понимаю, — сказал Он, внимательно глядя мне в глаза...

Я заплакал. Я собирал свои тряпочки, предметы тетиной заботы, и плакал. Я чувствовал, что теперь уже я разбит окончательно и не скоро смогу разогнуться и что пройдет еще немало лет, прежде чем я смогу забыть этот легкий презрительный смех и пальцы,

сжимавшие мое лицо. Раздались звонок и нарастающий топот многих ног, и по лестнице мимо меня с гиканьем скатилась лавина старшеклассников.

Я вышел на улицу и пересек ее, пролез между железными прутьями и пошел по старому запущенному парку, по аллее, в конце которой неслась ватага старшеклассников. Я медленно брел по их следам, мне хотелось посмотреть, как они играют в футбол.

Там, возле наполовину растасканной на дрова легкой читальни, была вытоптанная нашей школой площадка. Старшеклассники, разбившись на две ватаги, проносились по ней то туда, то сюда. Каждое наступление было несокрушимым, в какую бы сторону оно ни велось, оно было стремительным и диким, с неизбежными потерями и с победным воем. Волны пота то набегали, то уносились прочь, а я сидел у кромки поля и надолго проносились большие сильные ноги, валенки, сапоги и, словно желая вселить в меня уверенность в своих силах, они дрались за свое право владеть мячом все сильнее, все ожесточеннее, они, старшеклассники.

Проваливаясь по пояс в глубокий снег, я подавал им мячи, залетавшие в парк...

Я так и не знаю, было это поражением или победой. Иногда они, Казак, Лека и Он, останавливали меня и отбирали завтрак, и я не сопротивлялся, а иногда они почему-то не трогали меня, и я нес свою булочку домой, и вечером мы пили чай, закусывая вязкими ломтиками пеклеванного теста...

Мы шли по вагонным коридорам, и я открывал перед Ним двери и пропускал Его вперед, а когда Он шел впереди, Он открывал передо мной двери и пропускал меня вперед. Мне повезло, дверь в ресторан открыл я.

Как-то они узнали, что мать Абки Циперсона работает в больнице.

— Слушай, Старушка-не-спеша-дорожку-перешла, притащил бы ты от своей матухи глюкозу,— сказали они ему.

Абка некоторое время уклонялся, а потом, когда они «расписали» в ключья его портфель, принес им несколько

ко ампул. Глюкоза им понравилась — она была сладкая и питательная. С тех пор они стали звать Абку не так, как раньше, а Глюкозой.

— Эй, Глюкоза,— говорили они,— иди-ка сюда!

Не знаю, от чего Абка больше страдал: от того ли, что ему приходилось воровать, или от того, что его прозвали так заразительно и стыдно.

Так или иначе, но однажды я увидел, что он дерется с ними. Я бросился к нему, и нас обоих сильно избили. Каждый из этой троицы был сильнее любого из нашего класса. Они были старше нас на три года.

Конечно, мы могли бы объединиться и сообща им «отоварить», но школьный кодекс говорил, что драться можно только один на один и до первой крови. В силу своей мальчишеской логики мы не понимали, как это можно бить того, кто явно слабее, или втроем бить одного, или всем классом бить троих. В этом все дело: они боролись за еду, не придерживаясь кодекса. И еще в том, что они не отстаивали, а отбирали. Они были старше нас.

«Почему же Он меня не узнает?» — думал я.

В вагон-ресторане было пусто, красиво и чисто. Столики светились белыми крахмальными скатертями, и только один, видимо, недавно покинутый, хранил следы обильного пиршества.

Я заказывал. Я не скупился. Коньяк — так «Отборный», прекрасно. Не время было мне скупиться и зажимать монету. Самое время было разойтись всюю. Жаль, что в отношении еды пришлось ограничиться обычным вагон-ресторанным набором — солянка, пашлык и компот из слив.

Я вел с Ним простой дружелюбный разговор о смене времени года и смотрел на Его руки, на маленькие рыжие волосики, выбивающиеся из-под браслета. Потом я поднял глаза и вспомнил еще одну интересную вещь.

Сердце у Него было не с левой, а с правой стороны. Позднее я узнал, что это явление называется «декстрокардией». И бывает, в общем, редко, страшно редко, считанные единицы таких людей на свете.

В самом начале учебного года, когда они еще не перешли на насильственное изъятие продовольственных

излишков, Он спорил с нами на этот счет. Спорил на завтрак.

— Спорим, что у меня сердце не с той стороны, — говорил Он и горделиво расстегивал рубашку.

Потом, когда все уже узнали об этой Его особенности, Он перешел на силовой шантаж.

— Спорим? — спрашивал Он, садился рядом и выворачивал тебе руку. — Спорить или нет? — И расстегивал рубашку.

Тук-тук, тук-тук, ровно и мирно стучало с правой стороны сердце.

Тяжелую лучистую поверхность солянки тревожила равномерная вагонная тряска. Янтарные капли жира дрожали, собирались вокруг маленьких кусочков соевых, плававших на поверхности, а в глубинах этого варева таилось черт те что — кусочки ветчины, и огурцы, и кусочки курного мяса.

— Какой хлеб! — сказал я. — А помпите, во время войны был какой хлеб?

— Да, — сказал Он, — неважный был тогда хлеб.

Я набрался сил и посмотрел Ему в глаза:

— Помните наши школьные завтраки?

— Да, — твердо сказал Он, и я понял по Его тону, что силы у Него по-прежнему достаточно.

— Такие вязкие пеклеванные булочки, да?

— Да-да, — улыбнулся Он, — ну и булочки...

Ноги у меня ходили ходуном. Нет, я не могу сейчас. Нет, нет... Пусть Он все съест. Ведь мне приятно смотреть, как Он ест. Пусть Он насытится, и я заплачу.

— Сало «лярд» и яичный порошок, а? — с легкостью усмехаясь, спросил я.

— Второй фронт? — в тон мне улыбнулся Он.

— Но больше всего мы любили тогда подсолнечный жмых.

— Это было лакомство, — засмеялся Он.

Обед продолжался в блистательном порхании улыбок.

Французы делают так: наливают коньяк, плюют в него и выплескивают таким вот типам в физиономию. Разным там коллаборационистам.

— Выпьем? — сказал я.

— Ваше здоровье,— ответил Он.

Подали шашлык.

Прожевывая сочное, хорошо прожаренное мясо, я сказал:

— Конечно, это не «Арагви», но...

— Совсем неплохо,— подхватил Он, кивая головой и словно прислушиваясь к ходу своих внутренних соков.— Соус, конечно, не «ткемали», но...

Тут меня охватила такая неслыханная злоба, что... Ах ты гурман! Ты гурман. Ты знаешь толк в еде и в винах, наверное, и в женщинах, должно быть... А ручку мою ты по-прежнему носишь в кармане?

Я взял себя в руки и продолжал застольную беседу в заданном ритме и в нужном тоне.

— Удивительное дело,— сказал я,— как усложнилось с ходом истории понятие «еда», сколько вокруг этого понятия споров, сколько нюансов в этом понятии...

— Да-да,— подхватил Он с готовностью,— а ведь понятие самое простое.

— Верно. Проще простого — еда. Е-да. Самое простое и самое важное для человека.

— Ну, это вы немножко преувеличиваете,— улыбнулся Он.

— Нет, действительно. Еда и женщины — самое важное,— продолжал я свою наивную мистификацию.

— Для меня есть и более важные вещи,— серьезно сказал Он.

— Что же?

— Мое дело, например.

— Ну, все это уже позднейшие напластования.

— Нет, вы меня не понимаете...

Он стал развивать свои соображения. Я понял, что Он меня не узнает. Я понял, что Он меня никогда не узнает, как не узнал бы никого другого из нашего класса, кроме Леки и Казака. И я понял, почему Он не узнал бы никого из нас — мы не были для Него отдельными личностями, мы были массой, с которой просто иногда нужно было немного повозиться.

— Ну где уж мне вас понять! — неожиданно для самого себя грубо воскликнул я.— Понятно, для вас еда — это что! Ведь вы же прямой потомок марсиан!

Он осекся и смотрел на меня, сузив глаза. На пухлых его щеках появились желваки.

— Тихе,— тихо произнес Он,— вы мне аппетита не испортите. Понятно?

Я замолчал и взялся за шашлык: Коньяк стоял при мне, и никогда не поздно было в него плюнуть. Пусть Он только все съест, и я заплачу!

Рядом с нами сидел человек в бедной клетчатой рубашке, но зато в золотых часах. Он склонил голову над пивом и что-то шептал. Он был сильно пьян. Вдруг он поднял голову и крикнул нам:

— Эй, вы! Черное море, понятно?.. Севастополь, да? Торпедный катер...

И снова уронил голову на грудь. Из глубины его груди доносилось глухое ворчанье.

— Официант! — сказал мой сотрапезник. — Нельзя ли удалить этого человека? — Он показал не на меня, а на пьяного. — Во избежание эксцессов.

— Пусть сидит,— сказал официант. — Что он вам, мешает?

— Черное море... — проворчал человек, — торпедный катер... а может, преувеличиваю...

— Вы в самом деле считаете себя потомком марсиан? — спросил я своего сотрапезника.

— А что? Не исключена такая возможность, — кротко сказал Он.

— Марсиане — симпатичные ребята, — сказал я. — У них все нормально, как у всех людей: руки, ноги, сердце с левой стороны... А вы же...

— Стоп,— сказал он, — еще раз говорю: вы мне аппетита не испортите, не старайтесь. Я ведь и сам заплатить могу.

Я перевел разговор на другую тему, и все было сглажено в несколько минут, и обед пошел дальше в блистательном порхании улыбок и в шутках. Вот Он каким стал, просто молодец, железные нервы.

— Да что это мы все так — «вы» да «вы», — сказал я, — даже не познакомились.

Я назвал свое имя и привстал с протянутой рукой. Он тоже привстал и назвал свое имя.

Того звали иначе. Это был не Он, это был другой человек.

Подали сладкое.

Почти всегда Георгий ночевал прямо на пляже под тентом. Сразу после танцев, проводив ту или иную даму, он шел на пляж, проверял замки на своих лодках, а потом затаскивал под тент какой-нибудь лежак и растягивался на нем, блаженно и медленно погружался в дремоту.

Несколько секунд, отделявших его от сна, заполнялись солнечными искрами, плеском воды, смехом, стуком шариков пинг-понга, писком карманных радиоприемников, голосами Анкары и Салоник, шарканьем подошв на цементе...

— Георгий? Ты слышь, Георгий?

Иногда к нему под тент приходили отдыхающие. Тогда он садился на лежак и делал зверское лицо.

— Уходи отсюда, ненормальная женщина! — говорил он. — Раз-два-три, чтобы я тебя не видел. Раз-два-три, нарушение режима!

И отдыхающие уходили, унося с собой как самое нежное воспоминание его грубый юношеский голос, вид его корпуса, облитого лунным светом, как самое трепетное и романтическое воплощение дней, проведенных на юге.

Утром его точно подбрасывала какая-то пружина, он вскакивал, длинными прыжками пересекал полосу холодной гальки, сильно бросался в воду, рассекал ее долго и стремительно, выныривал и переходил на баттерфляй, потом снова нырял и уже далеко от берега ложился на спину, глядя, как над хребтом поднимается огненный лоб солнца.

Этот горящий, полыхающий, саднящий глаза лоб солнца и чистое небо, и маленькая точка утреннего вертолета из Гагры — все это обещало еще один день в цепи однообразного, пышного, бездушного, утомительного счастья. А для тех, кто, зевая, выходил на балконы дома отдыха, коричневая фигура, бегущая от воды, фигура с втянутым животом и мощной грудью, с длинными летящими ногами, фигура матроса спасательной

лодки Георгия Абрамашвили, была первой приметой этого дня.

Не вытираясь — да полотенца не было и в помине — он натягивал на себя истертые джинсы тбилисского производства, повязывал на шею платок, подаренный одной немкой, всовывал ноги в сандалии и отигравлялся на кухню. Там была повариха русская женщина Шура, которая кормила Георгия.

— Ешь, Жорик, рубай,— говорила она, смахивая слезы, и ставила перед ним полную тарелку и отдельно на блюдечке три куска сахара и двадцать пять граммов масла.

— Шура, он пришел? — спрашивал Георгий, погружаясь в еду.

— Пришел. Принесла его нелегкая,— кивала Шура в окно.

Значит — там под окном уже сидел ее муж: она была замужем за греком, пьяницей и дурнем. Обычно грек весь день сидел под окном кухни, питался, а к вечеру пропадал и колобродил всю ночь,— где — неизвестно. Шура вечно была заревана, честила своего грека, но если утром его не оказывалось под окном, она горько бедовала, то и дело застывая, подпирая скрещенными руками свои тяжелые распаренные груди.

— Пришел, бестия! — вздыхала она.— Ох, неизвестная нация!

— Какая нация, Шура?! — вскрикивал грек, и в окне появлялась его сияющая физиономия с оплывшими щечками.— Какая нация?

— Сам знаешь, какая у тебя нация,— ворчала Шура, отворачиваясь от окна.

— Моя нация — шотлан! — куражился за окном грек.

— Ох-ох,— качалась, уперев руки в бока, Шура, глядя на него и словно издеваясь, а на самом деле не в силах сдержать любви.— Выпил, да? Выпил, да?

— Выпил, Шура! За твое здоровье выпил!

— Ох-ох, ишь ты, герой! Герой — штаны с дырой!

— Дай поесть, Шура! — кричал грек и прятался на всякий случай.

Шура ставила на подоконник тарелку.

— Дай пятьдесят копеек, Шура! — кричал грек, хватая тарелку.

Шура замахивалась полотенцем, и муж ее скрывался надолго. Шура тогда подсаживалась к Георгию и невидящими глазами смотрела, как он ест.

— Сколько тебе лет, Шура? — спрашивал Георгий.

— Сороковка подходит, Жорик, — отвечала Шура, — а сама-то я воронежская, да ты знаешь.

— Старовата немного, Шура, — говорил он.

— То-то оно и есть, — вздохнула повариха и вдруг как-то воспламенялась и выпрямлялась. — Знаешь, какая я была? В санитарном поезде я служила! Знаешь, девочка какая была — сапожки, ножки, талья вот такая, коса вот такая... Врачи за мной бегали с высшим образованием и в чинах, стихи мне писали...

— Шурочка! Ходы-ы сюда на закладку! — кричал шеф-повар, и она вставала.

— Покажу тебе как-нибудь карточку, Жорик. Влюбишься.

Георгию было жалко Шуру: второй сезон она его питала. Он думал о том, что если бы он родился пораньше и там, на войне, встретил бы ту самую Шуру, лихую девочку с санитарного поезда, он бы тогда полюбил ее и жизнь ее сложилась бы тогда иначе.

Качая головой и вытирая свои ранние усики, он выходил из кухни и шел к месту своей работы — к Черному морю.

— Гоги! — кричал ему какой-нибудь пинг-понгист. — Дашь пять очков форы, сделаю тебя!

— Не смей меня, дорогой, — отвечал Георгий. — Десять очков получишь и проиграешь.

Он был одновременно королем пляжа и шутком; он ходил на руках и позировал перед кинокамерами, демонстрировал падения в волейболе; со всех сторон к нему несло его имя, ответственные работники старались быть с ним по-свойски; полдня он проводил в воде и слыл «Ихтиандром», морским дьяволом, дельфином; и впрямь, ему иногда казалось, что он возник где-то на большой глубине, в темных расселинах между скал. За свою работу он получал 40 рублей в месяц плюс питание; не густо, конечно, но жизнь эта его устраивала — в плеске, в шуме, в свисте, в музыке, покрываясь немислимым загаром, он ждал призыва в армию; мускулы его росли.

Он следил за тем, чтобы не заплывали за боны, и в тот день, когда возле ялика появились две головы в голубых шапочках, он встал во весь рост и заорал:

— Назад, ненормальные женщины! Раз-два-три, нарушение режима! Раз-два-три, докладную подам!

Два смеющихся овала прыгали возле ялика, и в воде слабо колебались белые тела.

— Посмотри, Алина, какая анатомия? Какой эллинский тип! Ты видела что-нибудь подобное?

— Я ничего не вижу без очков, ах, я ничего не вижу!

Георгий шуганул их веслом. Голубые шапочки повернули назад.

Очкастую девицу он заметил уже на пляже. Узнать ее было нелегко после той встречи в море. Она стояла возле самой воды, вытянувшись и подставив лицо солнцу. Она была высока, а рыжие волосы ее, густые и длинные, падали на спину. На ней почти ничего не было, только две узких полоски материи на груди и на бедрах. Да, и кроме того, очки. Иногда она их снимала каким-то удивительным движением — поднималась тонкая рука, поворачивалось чистое лицо с закрытыми глазами, вздрагивала рыжая грива.

Рядом с Георгием отдыхающая показала на очкастую.

— Как вам нравится? Голые скоро будут ходить, — сказала она.

— Лично я не возражаю, — с некоторым похабством и отпускным легкомыслием хохотнул отдыхающий, который у себя дома, должно быть, карал дочь и ее подруг за малейшее легкомыслие в туалете.

Георгий взял в руки мяч и, крутя его на одном пальце, независимо прошел мимо девицы. Она была в этот миг без очков и не заметила ни вертящегося на его пальце мяча, ни его самого.

Гоги сделал стойку и пошел на руках. Никто на пляже не удивился — все привыкли к таким его выходкам, к брожению его молодой силы, и сам ни на секунду не думал о нарочитости своих действий, просто потянуло его встать на руки и он пошел на них. Он шел на руках и смотрел назад на грубое каменистое небо, а может быть, это было и не небо, а выгнутый бок земли, нависший над голубым простором вселенной, и по

нему, по этому боку, вниз головой шествовала девушка, удалялись длинные голени. Девушка почему-то не срывалась в синюю пустоту, а шла, помахивая вялыми красивыми руками.

У Георгия потемнело в глазах, и он сел на гальку. Что-то плакать ему захотелось, и он пощипал себя за усики.

— Гоги! Миленький! — позвала знакомая дама, и он вскочил, словно молодой услужливый лев, плакать ему расхотелось.

Потом он увидел, что очкастая его рисует. Она сидела на надувном матрасике в обществе своей подруги и очень коротко остриженного молодого человека и рисовала в большом альбоме, выглядывая то и дело из-за него, очки ее то и дело вспыхивали на солнце. Гоги как раз играл с дамой в бадминтон. Волан взлетал очень высоко и пропадал в солнечном свете, и дама, колыхая руками, бежала к предполагаемому месту его падения. Гоги вспомнил, как дедушка его осудил эту игру.

— Вот еще новости, — сказал дедушка, — пробкой от шампанского вздумали играть. Нехорошая игра.

Игра эта и Гоги казалась тупой и вялой, не то, что пинг-понг, и играл он в нее с дамами только из чистой любезности. А в пинг-понг он играл, словно шашкой рубил — справа, слева и защищался, как воин.

Очки перестали поблескивать из-за альбома, склонилась рыжая голова. Георгий бросил играть, зашел сзади и заглянул в альбом. Там он увидел себя, но только в странном каком-то виде — будто бы он был сердит, будто в гневе поднял над головой не ракетку, а камень или пращу.

— Нравится вам ваш портрет? — спросила очкастая, не оборачиваясь, словно спиной почувствовав, что он стоит сзади.

Друзья ее обернулись и посмотрели на него.

— Почему ноги такие длинные? — спросил Георгий. — Разве у меня такие ноги?

— Элементарная стилизация, — заносчиво сказал глупый молодой человек.

Девушки переглянулись и засмеялись.

Георгий вскочил в ярости. Ему показалось, что это над ним засмеялись белокожие женщины, приехавшие с Севера, туманной громадой висевшего над узкой по-

лоской его жаркой земли. Нежные и вялые женщины, с папиросами в длинных пальцах... В гневе и обиде он зашагал прочь.

2

В неделю раз он ночевал на горе у дедушки и бабушки, в маленьком и хилом их домике — 600 метров над уровнем моря. Терраса поскрипывала под его сильным телом, когда он поворачивался на кошме. Лунный свет заливал террасу, мешки с айвой и горку дынь, бочонки и ящики, бутылки разных размеров и рыцарскую утварь деда — бурдюк, огромный рог, охотничье старое ружье.

За стеной стонал дедушка, его мучили боли в затылке, под террасой топотали бабушкины козлята, сама же бабушка Нателла спала тихо, словно девушка, ее не было слышно.

Георгий приходил сюда каждую неделю с субботы на воскресенье. Утром в воскресенье он отвозил вниз на базар бабушкины фрукты, продавал их там, поднимался на гору, отдавал Нателле выручку и снова устремлялся вниз, торопясь на танцы или в кино. Здешний верхний быт ничуть не был похож на быт нижний, шумный и праздничный. Здесь Георгия встречали бабушкины хлопоты, топот козлят, то нарастающие, то стихающие, но никогда не прекращающиеся стоны деда, и скрип колодезного ворота, и тихий преданный взгляд горной овчарки, запах помета и сырого подземелья, лопата и мотыга, и огромный желтый подъем горы, где на отшибе от поселения стоял домик греческого семейства и где бегала с оравой своих сестричек четырнадцатилетняя девочка, тонкая и долгоногая, давно выросшая из школьного платья.

Ночью Георгий лежал на животе, подперев кулаками голову, и смотрел вниз на море, по которому светящейся игрушкой полз пассажирский теплоход.

Он думал о теплоходе, на котором когда-нибудь он будет матросом, а художница сидела бы на палубе с альбомом; кроме того, он должен попробовать свои силы в спортивном плавании, ведь он еще ни разу не плавал под хронометр, может быть, он покрыл уже все мировые рекорды, а художница сидела бы на трибуне водного стадиона; кроме того, у него еще никогда не было кос-

тюма и он не носил галстука, но когда-нибудь он сошьет себе пиджак с двумя разрезами, как у Левана Торадзе, и поедет в Москву, а художница встретила бы его на улице Горького; кроме того, о том, что скоро уже придет осень и его призовут в армию и отвезут на Север, и он увидит большие русские города и в армии продолжит учебу, а может быть, он станет летчиком, а художница подняла бы голову и увидела бы в небе белый след от его самолета и подумала бы... ах, как обидела его эта художница!

Утром Нателла разбудила Георгия, дала ему лоби, сыр, кувшин маджари и принялась укладывать в чемоданы крупные свои мандарины, крупные и ровные, один к одному.

Дедушка уже сидел на сундуке, подобрав ноги в галошах и длинных коричневых носках, в которые были заправлены старые бостоновые брюки. Он стонал и презрительно наблюдал за сборами на базар.

— Э,— сказал он,— молодежь! Э, э, ну и молодежь пошла,— два чемодана мандаринов на базар везут. Я, когда молодой был, в Астрахани полвагона продал, а во Львове целый вагон продал. Э!

Глаза его, напряженные и тупо страдальческие, на миг сверкнули далеким и темным рыцарским огнем, но тут же он снова застонал, покачиваясь и отключаясь от этих хлопот.

— Продай быстрее, внучек,— сказала Нателла,— не дорожись. Продай быстрее и беги по своим делам.

Георгий кивнул, вывел из сарая старого дедовского коня, ржавый велосипед, перекинул через раму связанные деревянные чемоданы. Он двинулся вниз по каменной колкой тропе, с трудом сдерживая вихлянье велосипеда.

Солнце уже встало за спиной, и в море вонзилась тысяча огненных спиц, и утренний вертолет из Гагры, похожий отсюда на крохотную стрекозу, уже нацеливался на свою посадочную площадку.

Вместе с Георгием в этот час по тропам вниз спешили на базар представители грузинских, армянских и греческих горных семейств. Вскоре Георгий догнал Мишу Габуня, шофера санатория имени Первой пятилетки, который так же, как и он, поднимался раз в неделю на гору в помощь своим старикам. Вдвоем они

добрались до базара, взяли весы, заняли места за прилавком, выставили свой товар и написали объявления.

Миша написал: «Мандарины самые лучшие. Цена 1 кг — 1 р. 40 к. Можно и за 1 р. 20 коп.».

Георгий написал: «1 р. 20 коп. без разговоров».

Все это, разумеется, было тонкой игрой, призванной привлечь смешливых покупателей, и «э» Георгий написал лишь для этой же цели, для колорита.

Парни прекрасно подходили друг к другу — красавец Георгий и маленький шутник Габуня с быстрыми горячими глазами. Вокруг них толпились дамочки, торговля шла бойкая, Миша сыпал «колоритными» шуточками.

Базар шумел. У входа, заложив руки за спину, стоял огромный и толстый директор в хорошо отглаженном голубом костюме и плоской кепке. Рядом стояли представители местной дружины во главе с Авессаломом Илларионовичем Черчековым, наблюдали за порядком. Дальше в два ряда сидели торговцы живностью. Розовые поросята, тоненько визжа, дергали свои веревочки, пытаясь разбежаться во все концы этого мира, оглушившего их младенчество. Куры гроздьями висели вниз головой, иногда прикрывая налитые кровью глаза. На мягком асфальте лежали в предсмертной апатии два связанных за лапки петуха. Временами, словно вспомнив старые счеты, они вскакивали и начинали бешеный неуклюжий бой, потом в изнеможении падали, расплывались, зарывали клювы и гребни в зеленые и красные свои перья. Сидели здесь горцы с ягнятами на шее, поджав худые ноги в носках и галошах, и темные старухи с деревянными лицами, и младшее поколение в ковбойках. А дальше шли ряды с булыжниками груш, с баррикадами баклажанов, с пирамидами апельсин; а еще дальше — кепочные мастерские, где шла тайная и ловкая купля-продажа разных пустяков; потом сидели умельцы, производящие по графаретам клеенчатые коврики с волоокими княгинями и зубчатыми башнями. В толпе бродил на деревянной ноге лукавый старичок с птицей попугаем на плече. Для удобства вещая птица делила все человечество на русских и армян. Русским она вытаскивала из банки белые билетки, армянам — розовые. Старичок тут был, понятно, ни при чем.

Художница Алина развернула белый билетик и прочла:

— «Попутная дорога обещает бесчисленные наслаждения на основе взаимной привязанности счастья любви».

Молодые люди, а их уже стало трое вокруг Алины и ее подруги Насти, расхохотались и принялись острить. Повод, конечно, для острот был завидный.

— Алина, смотри — там наш Гоги! — сказала наперсница Настя.

— Верно! — весело воскликнула Алина.

Компания повалила к фруктовым рядам.

— Гагемарджос, кацо! Почему мандарины, генацвале? — кавалеры наперебой защеголяли своим умением обращаться с местными людьми.

Георгий твердо смотрел на художницу. Она склонилась к мандаринам. Сарафан ее еле прикрывал белую грудь.

— Здравствуйте, Гоги! — она протянула ему руку. — Вы напрасно обиделись. Мы не над вами смеялись.

Глаза ее за толстыми стеклами расширились, и зубы вспыхнули в улыбке.

— Я хочу подарить вам ваш портрет.

Она вынула из сумки альбом, вырвала лист и протянула Георгию. Потом она пошла от прилавка, часто оглядываясь. Георгий остался с портретом в руках.

— Георгий, дорогой, подари мне эту девочку на день рождения, — попросил Габуния громко, чтобы художница слышала. Был он скромным семьянином, этот Габуния, а подобные шуточки отпускал опять же только для колорита.

— Вот это парень, — сказала Настя, — просто бог.

— Сколько ему лет, как ты думаешь? — спросила Алина.

— Лет двадцать пять. Вот уж, наверно, любовник!

— Да уж воображаю. Может быть, проверить?

— Попробуй. Он на тебя глаз положил.

— Ты сгорела, Настя.

— Это ты сгорела, а я загорела.

— Еще бы, ты ведь мажешься этим маслом.

— Что это вы шепчетесь? — бросились к ним кавалеры.

Кавалеры, лукавые бандиты, изворотливые, как

ящерицы, угодники, похотливые козлы и ослы, прочь! — в разные стороны! — в рассыпную! — прочь от нее! — под горячим кинжальным взглядом Георгия Абрамашвили.

3

Под щелканье длинных лихих ножниц падали на салфетку, на плечи и на пол черные космы морского бога Абрамашвили. Жужжал вентилятор, жужжали мухи, пахло крепко и противно одеколоном. Георгий стригся под «канадку».

— На нет или скобочкой? — спросил мастер.

Скобочку пожелал Георгий, и шея стала прямой и высокой, как колонны «Первой пятилетки».

Георгий вышел на улицу. Был он в этот вечер в нейлоновой итальянской рубашке, польских брюках и западногерманских ботинках, которые прислал ему из Москвы двоюродный брат — словом, в полном параде.

— Эй, Гоги, куда собрался? — крикнули ему от стоянки такси Леван Торадзе и вся компания. Леван с компанией обычно после обеда занимал свой пост на главном перекрестке городка. Стояли они, облокотившись на головное такси, крутили в пальцах брелки, разговаривали друг с другом и с шофером. Когда пассажир занимал машину, подъезжала следующая и друзья облокачивались на нее. Если же машины на стоянке все кончались, компания тогда переходила через улицу и начинала стоять возле чистильщика. Так стояли они ежедневно до темноты, а потом отправлялись на турбазу, на танцы, и начинали там стоять.

— Пойдем с нами на турбазу, — сказал Леван, когда Гоги подошел и со всеми перездоровался, — там знаешь какие девочки, не то, что ваши старухи.

— Нет, я к себе пойду, — сказал Георгий.

— Георгию старухи нравятся, — засмеялся кто-то из компании.

— Пойдем, Гоги, выпей с нами вина, — сказал Леван и улыбнулся.

— Нет, я лучше так пойду, — сказал Георгий и тоже улыбнулся.

— Гоги вина еще и не пробовал, — подсмеивалась компания.

Он попрощался со всеми за руку и, широко вышагивая, в легких ботинках, чуть откинув назад корпус, направился в платановый тоннель, в конце которого за забором уже зажигались лампочки над танцплощадкой.

— Эй, Абрамашвили, стой! — остановила его народная дружина.

Авессалом Илларионович Черчеков был строг.

— Почему не пришел на дежурство? Почему? — спросил он.

— Почему? — счастливо улыбаясь и глядя на близкие уже лампочки, переспросил Георгий. — Почему я не пришел?

— Тебе оказали доверие, выдвинули в дружину, а ты не пришел, — удивленно поднял Черчеков густые брови. — Как это понять?

— Я приду, обязательно приду! — воскликнул Георгий и поплыл, полетел дальше.

— Смотри! — вслед ему крикнул Черчеков.

4

— Что ты, Алина, ты с ума сошла, или ты с ума сошла? Посмотри, сколько пришло знакомых, будет скандал, или ты скандала хочешь? Откажи ему теперь, сумасшедшая!

— Какой бес вселился в нее?

— Разошлась Алина!

— А, красавчик грузин!

— Не приглашай его хотя бы на дамский, подожди, позор, ей-богу! Шутки шутками, но зачем тебе это надо, дурацкие шутки, ведь это даже банально, не ходи, ты с ума сошла!

— Я встречал ее в Москве. Говорят — стерва.

— Брось, отличная девка и талантливая.

— Ее муж...

— Ты хочешь, чтобы я ушла? Я — уйду! Алинка, ну хватит, похихмили и довольно, нас зовут, может быть, ты хочешь?.. Знаешь, давай поговорим серьезно...

— Парень здесь увеселяет дам.

— Может, поговорить с ним по-мужски?

— Не связывайся. Налетят с ножами.

Алина с ума сошла и сняла уже очки, чтобы ничего отчетливо не видеть, чтоб все предметы чуть-чуть расплылись и даже его лицо, но пальцы ее тонкие точно ощущали весь рельеф спины молодого разбойника, услужливого Дон Жуана и поздри улавливали запах моря сквозь запах «Шипра», уйдем, давай уйдем. Алина сошла с ума.

5

Волны молча шли в темноте, а потом шипящей белой лавой покрывали всю гальку и хлопались о паранет, и Алина с Гоги, стоящие у подножия паранета, были мокры с головы до ног.

— Что же делать, Гоги? — спросила она.

— Не знаю, — пробормотал он, дрожа, не выпуская ее из рук.

— Ты замерз, что ли?

— Не знаю, ничего не знаю.

— Подожди, подожди, ты очки мои разобьешь... Слушай, ты знаешь наш корпус, в ста метрах отсюда над самым паранетом? Крайний балкон на втором этаже... Сможешь влезть?

— Конечно!

— Пусти, я побегу и буду тебя ждать.

По стене на второй этаж, какие пустяки, не так ли когда-то поднимался Тариель в доспехах и с оружием, а ему, мокрому и гладкому, как дельфин, гибкому, как обезьяна, сильному, как барс, влюбленному, как Тариель, по стене на второй этаж — это пустяки!

На балконе ему стало страшно. Он тронул дверь ногой, она скрипнула. Он замер, но дверь заскрипела еще сильнее и отворилась, и за ней в темноте стояла Алина, она была без платья, и тут ему стало так страшно, как никогда не было страшно в жизни.

— Иди, Гоги, — сдавленно прошептала она, — я Настю прогнала.

6

Он лежал, уткнувшись лицом в подушку, и одним глазом тайно наблюдал за ней. Она долго была неподвижной, потом зашевелилась, взяла с тумбочки сигареты, щелкнула зажигалкой, огонь осветил ее шею, подбородок, губы, чуть вислый кончик носа...

— Да-а, вот уж не ожидала,— вяло проговорила она и вяло помахала в темноте огоньком сигареты.

— Сколько тебе лет? — спросила она, нагибаясь к нему.

— Восемнадцать,— прошептал он.

— Мда-а,— она засмеялась и погладила его по голове.— Это я над собой смеюсь. — Хочешь закурить? — спросила она.

Он взял сигарету и сел на кровати.

— Первая сигарета, понимаешь,— сказал он.

— Ну, и денек у тебя выдался,— ласково сказала она,— первая сигарета, первая женщина.

За панбархатом, за кисеей очень близко шумел прибой, как будто там шла тяжелая стирка.

— Иди, Георгий, вниз,— сказала она,— сейчас Настя придет.— Иди,— она поцеловала его,— не расстраивайся. Все еще впереди.

Он сполз по стене вниз и уселся на край парапета. Вдали в черноте стояло судно, очертаний его видно не было, только светились желтые огни, как будто стоял там стол со свечами, накрытый к ужину.

«Почему я должен расстраиваться, когда такое счастье, понимаешь»,— думал Георгий.

7

На турбазе был вечер отдыха: шутили культурники-затейники, грохотал барабанный джаз, когда с четырех разных концов подошли к танцплощадке компания москвичей с Алипой в центре, Леван со своими друзьями, городская дружина во главе с Черчковым и одинокий Абрамшвили.

Георгий издали увидел Алину. Она была очень хороша, и он гордо подбоченился возле колонны и послал к ней гордый и счастливый свой взгляд.

— Нехорошо получается, Абрамшвили,— сказал, подходя, Черчков,— опять ты не пришел в штаб. Как это понимать?

И снова удивленно поднялись его густые брови.

— Отстань, Авессалом Илларионович,— сказал Георгий, глядя на Алину,— отойди, дорогой.

— Хулиганишь, Абрамшвили? — удивился Черчков и зафиксировал уже утвердительно: — Хулиганишь.

Компания Алины сильно разрослась за истекший день — кроме Насти были уже здесь и другие женщины, а также появились крепко сколоченные мужчины лет 35, уверенно оттеснившие на задний план троицу легкомысленных молодых людей.

Алина, наконец, заметила Георгия. и еле заметно кивнула ему, чуть нахмурилась и тут же отвернулась к мужчине, что стоял рядом, широко расставив ноги в голубых джинсах, расправив плечи в полосатой рубашке, подтянув начинающий тяжелеть живот.

Улыбку Алины и знак ее бровей Георгий воспринял как выражение общей тайны, близости, ласки.

На самом же деле Алина смеялась над собой и над ним, над своим дурацким приключением накануне неожиданного приезда мужа, смеялась, вспоминая неумелые мальчишеские ласки Георгия и подавляя невесть откуда взявшуюся горечь. Женщина она была неглупая и добрая, способная художница, в общем-то весьма рассудительная, но в их кругу почему-то за ней утвердился слава «неожиданной» женщины, и она иногда выкидывала «неожиданные» номера, возьмет да уедет вдруг ни с того ни с сего в какой-нибудь город или вот сделает то, что вчера, но, впрочем, может быть, она действительно была неожиданной женщиной, как и все остальные, впрочем, женщины.

— Хелло, друг, — сказал, подходя, Леван, — посмотри, какую я заметил женщину. Великолепная женщина.

Он показал на Алину.

— Это моя женщина, — сказал Георгий, и от счастья и гордости все струны в нем натянулись и загудели. — Не смотри на нее, Леван. Любовь, понимаешь.

— Понятно, Гоги, — сказал Леван и скрестил руки на груди. — Друзья одной помадой губ не мажут.

Он был доволен, что высказал один из параграфов своего курортного рыцарского кодекса.

Георгий запагал к Алине, чуть-чуть, вежливо взяв за талию, подвинул мужчину и поклонился ей.

— Ого! — сказал мужчина, взглянув на него. — Горный орел!

Алина танцевала ловко и красиво, но, конечно, не так, как тогда она танцевала. Георгий встревожился, глядя ей в очки и пытаясь уловить выражение глаз. Увы, очки отсвечивали, лишь иногда мелькали в них

врачки, но понять что-нибудь было невозможно.

— Алина, давай уйдем,— шепнул он, как она шептала ему тогда.

— Приехал мой муж,— усмехнулась она,— и поэтому... ты же понимаешь... и вообще не будем вспоминать и...

— Давай уйдем,— шепнул он, не вслушиваясь в ее слова, а только чувствуя течение речи.

— Я же говорю тебе, муж приехал,— с маленьким раздражением произнесла она,— мой законный муж, серьезный человек.

— Какой муж, что ты говоришь? — в ужасе и смятении забормотал он.— Глупости говоришь, дорогая...

Они танцевали в центре площадки, а вокруг бушевал вечер отдыха, и под крик и визг культурников танцующие очищали место действия то ли для бега в мешках, то ли для ловли призов с завязанными глазами. Они остались одни. Музыка смолкла. К ним уже бежали культурники, а Гоги все не отпускал Алину.

— Пусти немедленно,— зло прошептала она.— Мальчишка, дурак, пусти!

На шее у нее вздулись вены.

— Я твой муж! — закричал вдруг Георгий.— Я тебя увезу! Я тебя спрячу! Я не отдам...

Происходило что-то дикое и нелепое. Их окружили культурники, еще какие-то люди. Все кричали:

— Позор! Совсем обнаглели!

Какие-то лица мелькали перед Гоги: ощеренные лица Левана и его дружков, ее лицо без глаз, с огромными стеклами, деловые лица дружинников, возмущенные лица, ухмыляющиеся, тяжелое лицо того человека, ее мужа, его тяжелая рука...

Тут произошла вспышка, похожая на длинный кустистый разряд молнии, и рассеченное время стало плавиться, оползать, зрение Гоги застил красный туман — это его военная древняя кровь хлынула в мозг, он закричал что-то, чего и не знал никогда, и он не помнил потом, что он сделал, а опомнился через секунду уже в руках двух дружинников.

Из-за плеча Черчекова вспыхнул блиц — Гоги сфотографировали.

Потом его вывели за ворота турбазы.

По вечерам на парапете сидит старик горец, шамкает что-то и за пятнадцать копеек наливает желающим маджари из автомобильной канистры.

Знающие люди легонько толкают старика в плечо, подмигивают ему, словно он может в темноте увидеть это подмигивание, суют полтинники, и тогда он лезет в корзину, разворачивает тряпки, вытаскивает оплетенную бутылку и наливает знающему человеку добрый стакан чаи. Итак, в мальчишескую прекрасную жизнь Георгия бурно ворвались первая женщина, первая сигарета, первый стакан водки.

Он долго плавал в темноте, пока не попал под луч прожектора. Тогда он выбрался на берег, натянул штаны и рубашку и заснул на остывшей уже гальке.

В сатирическом окне городской дружины, которое называлось «Солнечный удар», появилась фотография Гогиной головы, к которой пририсовано было извивающееся в безобразных конвульсиях тело. Текст гласил: «Девушкам строго воспрещается танцевать с местным хулиганом Георгием Абрамашвили, 1947 г. р.»

Леван Торадзе по этому поводу высказался так:

«Разве так делают? С девушками делают совсем по-другому. Гоги — осел».

Авессалом Илларионович Черчекhov докладывал об этом случае так:

«Ничего страшного не случилось. Георгию Абрамашвили мы дадим возможность исправиться. Еще раз в связи с этим хочу поднять вопрос о мерах наказания безобразных бесстыдниц, которые к нам приезжают для поправки сил здоровья. У нас молодежь южная, горячая, а они разгуливают по городу, понимаете ли, фактически без ничего и отсюда вытекают печальные факты недоразумения. Нужно штрафовать».

Георгий сидел на самом солнцепеке над обрывом возле вагончика, в котором жила водолазная команда. Внизу под обрывом метрах в двадцати от берега с маленького катера опускали в море водолаза. Вот завин-

тили у него на шее шлем, толстяк какой-то хлопнул ладонью по шлему и водолаз ушел в глубину.

Георгий сполз по обрыву вниз, поплыл и в двадцати метрах от берега нырнул.

Там, где работал водолаз, было уже чуть-чуть темновато и прохладно. На камнях качались длинные водоросли. Гоги поплавал немного вокруг водолаза, заглянул к нему в стекло, увидел смеющийся глаз молодого парня, подмигнул ему и пошел вверх.

В пронизанной солнцем воде над ним качалось днище катера, он вынырнул рядом и взялся рукой за борт. — Ты! — сказал ему толстяк с катера. — Ну и силен! Иди к нам работать, кацо.

— Нет, — сказал Георгий. — Я скоро в армию иду. В авиацию.

Поплыл к берегу, посидел немного на берегу, оделся и пошел в парк.

В парке возле горбатого мостика, прихотливо повисшего над пересохшим ручьем, сидела повариха Шура. Перед ней на газетке лежали куски пемзы разной величины.

— Здравствуй, Шура, — сказал Георгий.

— Здравствуй, Жорик, — сказала Шура, виновато как-то улыбаясь.

На голове у Шуры был выцветший платок с надписями «Рим», «Париж», «Лондон» и с видами этих столиц.

Гоги сел рядом с ней и закурил.

— Вот видишь, — кивнула Шура на газету, — пемзы насобирала. Торгую. Может, наберу своему проду на сто грамм. Вот ведь иго иноземное, а, Жорик?

— Да-а, Шура, — сказал Георгий. Ему было хорошо сидеть рядом с ней и чувствовать к ней жалость, добро.

— Что же ты не питаешься, Жорик? — спросила Шура. — Совсем не ходишь.

— Уволился, — сказал он. — Скоро в армию иду. Скоро, Шура, летчиком я стану.

— А ты все равно приходи, — сказала Шура. — Приходи, Жорик, я тебя питать буду. А сейчас закурить мне дай.

Они посидели немного молча, покуривая и глядя на аллею, которую пересекали редкие отдыхающие под зонтами.

— Вон он идет! — вдруг вырвалось у Шуры восклицание, звонкое, как у девушки. В конце аллеи, волоча широкие штаны, появился ее муж. — И-идет, древний грек! — язвительно пропела Шура, а в глазах ее светилась любовь.

— Здравствуй, Шура, — смущенно хихикая, сказал грек, — торгуешь?

— Торгую! — закричала Шура. — Ради тебя тут сижу, всему народу на позор.

— Конечно, ради меня, Шура, — заулыбался грек, протягивая уже ладонь и выворачивая большой палец. — Ведь я твой муж.

— Муж! — Шура уперла руки в бока. — Ох, уж и муж. Муж объелся груш.

Георгий оставил супругов на мостике, а сам пошел вдоль ручья к ущелью. Идти было приятно — сзади жарпло солнце, висевшее над морем, а в лицо дул прохладный ветер из ущелья. Желтеющие уже листья платанов важно колыхались.

На окраине возле станции стояли в ряд четыре палатки военно-строительного отряда. Георгий прошел мимо них, с любопытством заглядывая в глубь каждой. Там шла тихая жизнь — солдат в майке писал письмо, другой лежал на койке с книгой, третий под взглядом Георгия испуганно встрепенулся — оказывается, разглядывал в зеркало свой затылок, четвертый спал. К расположению отряда подъехал грузовик с гравием, трое солдат прыгнули в кузов и принялись сбрасывать лопатами гравий.

— Что стоишь, кацо, подсоби! — крикнул один из них, длинный и голый, в одних только трусах и сапогах.

Георгий взял лопату и прыгнул в кузов.

— Да я шучу, — сказал длинный парень.

— Ничего, — сказал Георгий, и они заработали вчетвером.

— Пошли купаться, — сказал потом длинный Георгию, напялил на себя мешковатую тропическую форму, нахлобучил зеленую панаму с вислыми полями, и они пошли вдвоем к морю.

— Житуха! — сказал парень, жмурясь на море. — Ты местный?

— Ага, местный. Я скоро тоже в армию иду.

— Советую тебе, друг,— просись в строительные отряды.

— Нет, я в авиацию. Мне вчера военком обещал.

— А-а, в авиацию,— сказал солдат, видно, задумавшись о чем-то своем.— В авиацию, значит... А я так решил, дорогой кадо. Сам я москвич. Так? На «Красном пролетарии» работал. Там у меня и девчонка осталась — нормировщица. Мне в военно-строительном отряде деньги платят. Верно? Понял? А я их на сберкнижку кладу. Правильно? Вернусь с деньгами. Верно или нет? И тогда мы купим мотоцикл с коляской и будем с ней гонять по живописному Подмосквью. Ну, и вечернюю школу закончим. Правильно я говорю?

Возбужденный своими мечтами, солдат все сильнее махал руками и ногами, Георгий еле попевал за ним.

— Правильно говоришь, солдат.

— А ты, значит, в летные войска хочешь? В аэродромное обслуживанье? — заинтересовался солдат судьбой Георгия.— Тоже дело. Специальность можно хорошую приобрести.

Они уже бежали к морю, двое мальчишек с торчащими ушами.

— Я хочу...— сказал Георгий и на миг сощурился под нестерпимым блеском солнца и моря,— я хочу...

Что-то вдруг пронзило его в этот миг. Он словно услышал какой-то далекий, очень далекий, бесконечный зов и бессознательно стиснул кулаки, пытаясь понять, чего же он хочет и что это за звук, услышанный им.

Может быть, это был ветер древней Месхетин, пролетевший по всем грузинским ущельям от неприступного Вардзия сюда, к юноше Абрамашвили? Чего он хочет?

Путь им пересек шлагбаум, и они остановились. Прошел скорый поезд «Сухуми—Москва».

— Гоги! Приветик, Го-о-ги! — поезд унес этот крик в туннель.

Они побежали дальше к морю.

— Я хочу стать космонавтом! — яростно закричал Георгий.

— Тоже дело,— одобрил солдат.

Я впервые видел Скачкова таким эlegantным. Все на нем было прекрасно сшито и подогнано в самый раз, а я выглядел довольно странно. На мне были засаленные измятые штаны и зеленая рубашка, которую я каким-то образом купил в комиссионке. Думал, черт те что покупаю, а оказалось — самая обыкновенная зеленая рубашка. Итак, грязные штаны и зеленая рубашка. В таком виде я возвращался из экспедиции.

Поездка на теплоходе по этой тихой северной реке доставляла нам обоим большое удовольствие. Мы прогуливались по палубе от носа к корме и обратно по другому борту, приятно было.

Одного я только побаивался — как бы нам не вломили по первое число. Прогуливаясь по палубе, я прикидывал, кто из пассажиров мог бы нам вломить. Скорее всего, это могли сделать летчики — двое с желтыми погонами (летный состав) и один техник-лейтенант. Да, это будут они.

Я оглянулся — летчики удалялись, помахивая фотоаппаратами. Я посмотрел на Скачкова. Кажется, он и не думал об этом. Он был невозмутим и спокойно рассказывал мне, вернее самому себе, о своих творческих планах.

С него хватит. Это мне все эти церквушки в диковинку, а ему они — вот так! По своей натуре он не научный работник, а скорее художник. Конечно, древнее зодчество, фрески, прясницы, мудрая простота, тра-та-та... Это много дает поначалу, но он не может все время исследовать, он должен создавать. Ведь он художник, и неплохой, скорее первоклассный.

— В Питере покажу тебе свою графику. Это что-то необычайное, — сказал он, улыбаясь.

Мне нравился Скачков. Я понимал, что он над собой издевается. Есть такие люди, что постоянно играют сами с собой. Казалось, что для Скачкова его собственная персона — только объект для наблюдений. Казалось, что все его улыбочки и ухмылки относятся к нему самому и имеют совершенно определенное словесное выражение: «спошил», «ну и тип», «разнюнился», «вот дает» и т. д. Скачков был сложен и ироничен. Я чувствовал,

что это философ. Честно говоря, я немного восхищался им и думал, что в дальнейшем буду таким, как он. Прямо скажу — я совершенно серьезно относился к своей зеленой рубашке. Скачков был старше меня на 6 лет. Мне было 24 года, а ему 30.

Мы познакомились с ним в экспедиции. Он учил меня ловить щуку на спиннинг.

— Это же так просто, — говорил он, — смотри! Бросаешь блесну, — следовал размах и мастерский бросок, — подождешь немного и накручиваешь.

Мне нравилась эта охота, интересно было смотреть, как меж колеблющихся подводных стеблей появлялась серебристая блесна, а за ней с грузной стремительностью летела щука. Потом Скачков делал какое-то движение, и щука уже билась в воздухе словно повешенный.

У меня не получалось. Мне казалось, что размахиваюсь я не хуже Скачкова и накручиваю я точно, как он, но, видно, все-таки я делал что-то не так. Я вообще «неумека», как называли меня в детстве. Я думал, что навсегда погиб в глазах Скачкова, потому что мы каждый вечер охотились на щук, и я за все время не поймал ни одной. Наши лодки стояли в камышах, а над озером на холме чернела церковь, построенная без единого гвоздя, а у подножия холма в тихой заводи стоял наш катер. Катер с мягкими сиденьями и эта церковь. Термосы и костер. Щуки и спиннинг. Мне казалось, что я смог бы построить такую церковь, но разобраться в моторе катера было мне не под силу.

Скачков посмотрел на свое отражение в стеклянной стене ресторана, одернул пиджак и усмехнулся.

«Ишь ты, обарахлился», — казалось, говорила его усмешка.

Стекла ресторана полукругом выходили на нос теплохода. Я увидел там внутри Зину. Она сервировала столы к обеду. Я подмигнул ей. Она как-то смущенно улыбнулась и зиркнула в другую сторону. С другой стороны стеклянного полукруга в ресторан смотрели летчики — летный состав и техник-лейтенант. Мы пошли и столкнулись с ними на самом носу.

— Осторожней надо ходить, — сказал старший по званию, капитан.

— Виноват, — рассеянно произнес Скачков, и мы разошлись с летчиками.

Я посмотрел теперь на Зину с другой стороны, с правого борта. Она шла с подносом между столиками, нарочно глядя прямо перед собой, не обращая внимания ни на нас, ни на летчиков. Она была черненькая, маленькая, вся какая-то отточенная, словно шахматная фигура. Я представил, как стучат там, за стеклом, ее каблучки и как тихо позванивают пустые фужеры на ее подносе. Она такая и есть — четкий стук и тихий звон.

— Да-нет, есть-нет, вот счет — спасибо, уберите руки — это четкий стук.

А что в ней тихо звенит, я не знал. Такое сразу не увидишь.

— Хорошая девчонка, — сказал Скачков, — женись на ней.

Я даже вздрогнул от неожиданности.

— Да ты что?!

— А что? Лучшие жены получают из таких.

— Из каких это таких? — спросил я.

Скачков посмотрел мне в лицо и усмехнулся:

— Из таких маленьких и четких.

Ее четкость, понял я, для него не секрет, но знает ли он про звон?

На корме мы снова увидели летчиков. Двое из них стояли обнявшись на фоне флага Северо-Западного речного пароходства, а третий наводил на резкость фотоаппарат. Мы остановились. Капитан опустил камеру и пробурчал:

— Ну, проходите.

— Делайте ваш снимок, — приятно улыбаясь, сказал Скачков.

Он щелкнул, мы прошли.

— Эй, зеленая рубашка! — позвали меня.

Старший лейтенант протягивал мне камеру со словами:

— Не можешь ли ты, друг, щелкнуть нас втроем?

Чуть поспешней, чем надо это было сделать, я взял аппарат. Я увидел в видоискателе их всех троих. Теперь у меня была возможность рассмотреть их лица.

Капитан был в возрасте Скачкова. Он хмурился, как бы давая мне понять: «Снимаешь? Снимай! Твое дело — только нажать затвор, и все. И можешь идти. Раз-два!»

Старлей был помоложе его года на три. У него было лицо из тех, что называют «открытыми». Он щурил хит-

роватые глазки и, видимо, был очень доволен тем, как ловко он приспособил меня для этого дела.

Техник-лейтенант был, наверное, моим ровесником. Он думал только о том, как он получится, и весь одревенел под объективом.

— Внимание, — сказал я.

Летчики приосанились. Эти славные ребята пощипали значение фотографии.

— Пятки вместе, носки врозь, — тихо сказал за моей спиной Скачков. — Грудь вперед, живот втяни.

Кажется, капитан расслышал. Я сделал снимок и отдал ему камеру. Мы со Скачковым снова пошли к носу теплохода и остановились, облокотившись о борт, возле ресторана.

Зина сидела, положив подбородок на кулачок, и смотрела вдаль на реку, залитую солнцем, и тихие лесистые берега. Другая официантка сидела рядом, что-то быстро говорила ей и смеялась. Но Зина будто ее не слушала, она смотрела вдаль, нет, не то, чтобы мечтала, а просто смотрела на реку, а не на свою товарку и не на сервировку.

«Вот сейчас в ней и идет этот тихий звон», — подумал я и спросил Скачкова:

— А ты бы женился на ней?

Прежде чем ответить, Скачков посмотрел на реку и на Зину.

— Сейчас женился бы, не раздумывая, но тогда не женился бы.

— Когда?

— Когда я женился на своей жене.

Вторая официантка что-то сказала Зине на ухо, хотя в зале никого не было, и та вдруг резко, вульгарно рассмеялась. И оттого, что звука не было слышно, впечатление от ее распахнутого рта с мостом и коронкой на верхней челюсти было особенно неприятным.

Я беспомощно посмотрел на Скачкова. Как мы будем выходить из этого положения? Ведь наговорили черт знает что.

Скачков смотрел на хохочущую официантку, потом сам засмеялся и посмотрел на меня. Я понял, что чуть было не сел в лужу, точнее, сажу уже в ней по горло, а он опять на высоте. Ведь он снова блефовал, вел свой обычный розыгрыш то ли самого себя, то ли меня, а

скорее всего и себя, и меня, и всего вокруг. А я чуть было не рассказал ему про выдуманной мной «тихий звон».

2

Река текла нам навстречу совершенно неизменная, такая же, как триста лет назад, если не обращать внимания на бакены. Длинные отмели, частокол леса или свисающие к воде ивы, редкие хмурые избенки, женщина с коромыслом на мостках, и вдруг за поворотом все изменилось. Здесь было водохранилище и шлюзы, гидростанция и маленький городок при ней. Мы стали чалиться.

За пристанью был маленький базарчик. Торговали застарелой редиской, огурцами и ягодами. Мы купили клубники. Кулечки были свернуты из листков школьной тетради в косую клетку. Я различал слова, написанные фиолетовыми чернилами: «Этапы развития капитализма в Европе. 1) Борьба феодалов с горожанами».

Скачков развернул свой кулечек и хохотнул:

— Вот они — приметы нового, так сказать.

После «борьбы феодалов с горожанами» ничего нельзя было разобрать, все расплылось. Чернила смешались с кроваво-красным клубничным соком.

Мы увидели, что неподалеку, с какого-то старого причала, прыгают в воду пассажиры нашего теплохода. На краю причала в красном купальнике стояла Зина, похожая на статуэтку.

— Пошли выкупаемся, — сказал Скачков.

Рядом с Зиной готовились к прыжку в воду летчики. Они были мускулисты и неплохо сложены, но их сильно портили длинные синие трусы. Я ни за что не остался бы в таких трусах. Плавки на мне были что надо, а на Скачкове — вообще блеск.

Летчики стали прыгать в воду, вернее падать в нее. Они прыгали «солдатиком», ногами вниз, очень неумело и смешно. Вынырнув, они поплыли грубыми саженками, а то и «по-собачьи», отфыркиваясь и счастливо смеясь.

— Зиночка, прыгайте! — крикнул капитан, и они все уставились на причал.

Зина жеманно заерзала.

— Ой, боюсь! Какая вода?

— Мо-о-края! — закричал техник-лейтенант.

Скачков, расправляя плечи и поигрывая отличными мускулами, направился к краю причала. Он прыгнул не вниз, а вверх, вытянулся в воздухе, как струна, потом сложился комочком и, вытянув руки над самой водой, вошел в нее без брызг.

— Ой-о-ой! — восхищенно воскликнула Зина. Она подалась вперед и сияющими глазами следила за Скачковым, а я смотрел на нее. Она была тоненькая-тоненькая, а грудь — с ума сойти, и ручки, и ножки...

А Скачков внизу выдавал стили — и брасс, и кроль, и баттерфляй.

— Сколько вам лет, Зина? — спросил я.

— Все мой, — машинально отпарировала она, но вдруг медленно повернулась ко мне и спросила: — А что?

— Знаете кто вы? — сказал я. — Вы — четкий стук и тихий звон.

— Оставьте ваши шуточки при себе, — быстро сказала она и стала смотреть в воду, но вдруг опять повернулась и заглянула мне в глаза. — Что это? Я не понимаю... Тихий звон...

Голос ее звучал робко, и вся она в этот момент была — неуверенность и робкость, и трепет молодого клейкого листочка.

— Ну, что же ты? Прыгай! — закричал из воды Скачков.

Я прокашлялся и засмеялся.

— Будильник, — сказал я. — Четкий стук — тик-так, тик-так, и тихий звон — тр-р-р... Будильник с испорченным звонком.

Она захохотала, как тогда, резко и вульгарно.

— Ну и комик! — сказала она и очень по-бабьи, по-деревенски, спрыгнула в воду.

Я прыгнул за ней. Прыгнул не с таким блеском, как Скачков, но все-таки достаточно спортивно.

3

За обедом Скачков, виновато улыбаясь, сказал, что считает себя самым что ни на есть идиотским фанфароном и сопляком. Зачем ему понадобилось демонстрировать перед летчиками свое превосходство в прыжках

в воду, показывать свой высокий класс? Все это очень глупо, но...

— Понимаешь, когда я раздеваюсь и если к тому же на мне хороший загар, я сразу становлюсь шестнадцатилетним пацаном. Просто чувствую каждую мышцу и весь свой сильный организм.

— Кончай рефлексировать,— с некоторым раздражением сказал я,— ты просто сделал хороший прыжок, и все. Летчики уже давно забыли про все прыжки на свете. Вон, посмотри, как обедают.

Летчики обедали шумно и напористо. Весь стол у них был заставлен бутылками пива и «столичной».

Мы выпили по второй. Зина принесла суп. Мы съели суп и выпили по третьей.

— Ты знаешь, что у меня два года назад была выставка? — вдруг спросил Скачков.

— Нет, не слышал.

Он горько усмехнулся.

— Никто об этом не слышал, потому что выставка не представляла интереса.

— Да? — сказал я, глядя в окно.

Собственно говоря, я почти не знал его, талантлив ли он или нет, и для меня вовсе не было ошеломляющим открытием то, что его выставка не представляла интереса.

— Я тебе все сейчас расскажу,— возбужденно сказал Скачков.— Я его еще не видел таким.— Пейзажники. Я выставил свои пейзажи — акварели и масло. Я не люблю свои пейзажи. Я люблю свою графику, но ее-то и не выставил. Потому что выставку организовал один кит из академии, а ему не по душе была моя графика. Потому что он сам пейзажист, а я, значит, представлялся почтеннейшей публике как один из его старательных учеников. Потому что пейзажники у меня были кислосладкие, добропорядочный импрессионизм, и вашим, и нашим, а графика его раздражала. Потому что в пей я был самим собой, а это его не устраивало. Не надо дразнить быков, говорил он, наверное имея в виду и самого себя, как одного из быков. Давай, выпьем еще. Зиночка, мы хотим еще. Я мог все-таки выставить графику, поставить его перед фактом. Кое-кто советовал мне сделать это. Можно было даже протащить через комиссию. Если бы я это сделал, ты бы знал, что у меня два года

назад была выставка. Но я не сделал этого. Ну, давай, выпьем. Будь здоров! Я не хотел рисковать, решил дожждаться лучших времен. Решил не дразнить быков. Решил, что не стоит рисковать с первой выставкой. А потом плюнул на все и ушел в институт, изучаю древнерусское зодчество. Давай еще по одной?

— Может, хватит тебе? Выставишь еще свою графику.

— Будь здоров! Может, выставлю, а может, и нет. Ну, если не выставлю, то что? Что произойдет? Ничего особенного. Каждому — свое. Правильно? — Последний вопрос был обращен к летчикам.

Те уже съели второе и теперь курили, попивая водку, и пиво. Старлей что-то рассказывал, они смеялись и не слышали Скачкова. Он налил себе рюмку и встал.

— Пойду, поговорю с ними за жисть-жестянку. Они все знают. Ты ни черта не знаешь и не можешь пролить бальзам на мои раны, а они все знают и прольют.

— Сядь, Скачков. Не лезь к летчикам.

Но он направился к ним, высокий, коротко остриженный, в сером пиджаке с двумя разрезами. Он подошел к ним и что-то сказал, они потеснились, и он сел, положив руку на спинку капитанского стула. Неужели он начнет им сейчас рассказывать про свою графику?

Тут включился в работу радиозел теплохода, и заиграла музыка из «Оперы нищих». Я сидел и думал, что лирикам моего типа легче жить. У нас все неясно: грусть и недовольство собой, а стоит увидеть девушку или радиозел начнет работу, и — все меняется. Мы похожи на радиоприемники с плохой комнатной антенной — много разных звуков и много помех, ничего не поймешь. А стоит ли выводить антенну наружу да еще делать ее направленной? Куда направлять ведь неизвестно, и пусть так будет, все лучше, чем психология Скачкова, с которой жить, должно быть, почти невозможно.

— Дайте счет, Зина.

Она вынула из кармана блокнот и стала считать. Она стояла совсем близко, точеное, как шахматная фигура, существо в черной юбке и нейлоновой кофточке, и считала:

— Солянка два раза, бифштекс два раза...

— Сколько же вам все-таки лет? — спросил я.

— Двадцать, — сказала она тихо. — Я из Павловска.

Ей-богу, она чуть не плакала. В ней, должно быть, в эту минуту звонили все ее тихие колокольчики и пустые фужеры...

— Вечером погуляем по палубе? — осторожно спросил я.

Она кивнула и отошла.

В эту минуту с грохотом отлетели стулья, и я увидел, как вскочили капитан и Скачков. Капитан взял Скачкова за лацкан пиджака.

— Что-о? — гремел он. — Пятки вместе, носки врозь? Это мы-то? Ать-два?

— Осторожно, — сказал Скачков, освобождаясь, — я владею приемами бокса и самбо.

Вскочили старлей и техник-лейтенант.

— А по по не по? — улыбаясь сказал старлей, поворачивая Скачкова за плечо.

Это означало — «а по портрету не получишь?»

Я подбежал и стал оттирать Скачкова от летчиков.

— Товарищи, вы же видите, он пьян.

— Сопляки и дерьмо! — гремел капитан. — И ты дерьмо, хоть и демобилизованный, — крикнул он мне в лицо.

Почему демобилизованный, обалдел я и понял — зеленая рубашка.

— Выбирайте выражения, штабс-капитан, — процедил Скачков.

— Выйдем отсюда, — сказал капитан, и летчики зашагали к выходу на палубу.

Я понял, что нам сегодня вломят по первое число. Выходить не хотелось, но надо было идти. Мужской закон — раз тебе говорят «выйдем отсюда», значит надо идти.

На палубе мы снова сгрудились в кучу и взяли друг друга за одежду.

— Ты знаешь, сколько раз я катапультировал? — сказал капитан, приближая ко мне свое лицо с холодными и затуманенными зрачками. — А Мишка, а Толька? Знаешь, сколько раз мы катапультировали? Это тебе ать-два?

Палуба покачивалась у нас под ногами сильнее, чем это было на самом деле.

— А ты думаешь, я не катапультировал? — с отчаянной решимостью крикнул я. — Почему ты решил, что я ни разу не катапультировал?

Капитан был озадачен.

— Иди ты, — сказал он.

— А ты думаешь, он не катапультировал? — осмелев, крикнул я, резко кивнув на Скачкова.

— Так вы, ребята, летчики? — капитан сдвинул фуражку на глаза.

— Я так и думал, что этот друг катапультировал, — сказал старлей, кивая на меня, и повернулся к Скачкову. — И ты, значит, тоже?

Он облегченно засмеялся. Он, видно, не любил драться.

— Естественно, — сказал Скачков, — катапультирование — мое обычное состояние.

— Значит, знаете, что это за штука, — улыбнулся капитан, — а я уж думал, сейчас как дам наотмашь. Ну, давайте будем друзьями.

Мы пожали друг другу руки и разошлись. Я отвел Скачкова в каюту, и там он рухнул на диван.

4

Я вышел на палубу. Летчики стояли на корме, разламывали булку и бросали куски мартынам. Птицы пикировали и хватали куски на лету. Я поднялся на верхнюю палубу, где капитанский мостик, и сел там, притулившись к вентиляционной трубе. Я старался не смотреть на берега, и надо мной было только огромное небо. На нем не хватало лишь белой полосы от реактивного самолета. Сколько раз я видел эти бесконечные хвосты, ползущие за еле заметной и изредка вспыхивающей на солнце точкой. На невысказанной высоте, на сверхразумной скорости проходили военные машины. Трудно было представить, что там люди, а они там были. Парни в длинных трусах, ультрасовременные люди крестьянского происхождения.

Весь свист и рев раздираемого пространства обрушился на меня. Человек мечтал когда-то уподобиться птице, а превратился в реактивный снаряд. Смертельная опасность, собранная в каждый километр, а километр — это только подумать о маме. Прекрасен пущенный в небо серебристый снаряд и человек, находящийся в нем. Человек взял в руки машину и перенял ее смелость, ибо что же тогда такое катапультирование, как не общая смелость человека и машины? Катапультирование ради

спасения себя как ценного авиакадра и ради эксперимента, а то и просто «отработка техники катапультирования»??? Это та же смелость, что смелость сопла, изрыгающего огонь, и смелость несущих плоскостей. И ни минуты на мысль, ни секунды на трусость. Нажимайте то, что надо нажать, проигрыш или выигрыш — это будет видно внизу. Смелость, естественная, как дыхание, потому что там, на большой высоте, не быть смелым — это все равно, что прекратить дышать.

«А на земле другие законы, — думал я. — Например, когда ты стоишь перед человеком, которому хочется плюнуть в лицо. Ты знаешь, что он заслужил добрый плевков в переносицу, и все в тебе дрожит от желания плюнуть. Конечно, это риск, но риск-то дерьмовый по сравнению с катапультированием на большой высоте. И ты понимаешь это, но... можно плюнуть, а можно и не плюнуть...»

Это, как прыжок с парашютной вышки. Можно прыгнуть, а можно в последний момент сказать, чтобы тебя отвязали. И ступешаться, тихо спуститься по лестнице. Внизу этого могут даже не заметить, потому что толчея, а вокруг и других аттракционов полно.

Я учился в школе и окончил ее. Учился в институте и его окончил. Сейчас вот работаю. Прочел много книг. Занимался спортом. Написал несколько картин, а сейчас пробую свои силы в литературе. У меня есть умные друзья, достойные подражания, и девушки, с которыми приятно проводить время. Но почему вдруг сейчас мне стало горько оттого, что я никогда не набирал высоты, на которой перестают действовать земные законы. Никогда мой пульс не превышал ста ударов в минуту (даже после баскетбольного матча), и формула крови всегда была в покойном и прекрасном состоянии? Никогда я не терял сознания. Никогда катапульта не выстреливала мной в разреженную жгучую атмосферу.

5

Я спустился с верхней палубы в тот час, когда зажглись первые звезды, и радиоузел начал свою работу опять с «Оперы нищих». За дальним лесом было светло, как возле витрины универмага, — там была луна. Крытая палуба была освещена слабо. Я вспомнил о Зине и пошел к корме, разыскивая ее.

Я увидел ее, только когда сделал почти полный круг. Она стояла с техником-лейтенантом. Они облокотились на перила и смотрели в воду.

— Вы сами откуда? — спрашивал лейтенант.

— Откуда я, там меня нету, — хрипловато засмеялась Зина.

— А я из Череповца, — ласково сказал лейтенант.

Я прошел мимо и быстро пошел по другому борту снова к корме. Луна уже поднялась над верхушками деревьев. Когда я снова поравнялся с Зиной, на ее плечи был сброшен лейтенантский китель с серебряными погонами.

— И вы тоже, значит, катапультировали? — совсем как маленькая спросила Зина. Ярko блеснул ее правый глаз.

— Нет, — сказал лейтенант печально, — не катапультировал. Я техник. А без нас, знаете, ни одна машина не полетит...

Теплоход выходил в озеро, а луна набирала высоту. Я постоял немного на корме наедине с луной и с флагом Северо-Западного речного пароходства. Потом снова пошел к носу.

— А я из Павловска, — тихо сказала Зина лейтенанту и склонила голову. Она не видела, что выделывал лейтенант своей левой рукой. Его рука витала над ее спиной, не решаясь опуститься. Когда она опустила, я ушел.

Скачков сидел на диване и читал журнал «Пионер». Это была одна из его удивительных странностей — он любил с глубокомысленным видом читать этот журнал.

Он был без пиджака, но галстук затянут, а мокрые волосы расчесаны на пробор. Видно, он принял душ и очухался.

— Очухался? — спросил я, садясь напротив.

Он поднял на меня белесые, горящие дьявольской насмешкой глаза.

— Ах, не волнуйся, — сказал он, — ничего не делаешь, каждому свое.

— Отвяжись ты от меня, очень прошу, — сказал я через силу.

Он кивнул.

— Гуте нахт.

И перевернул страницу.

Авиация проделывает с нами страшные номера. Когда я прилетаю куда-нибудь самолетом, мне хочется чертыхнуться по адресу географии. Это потому, что между теми местами, откуда я приехал, и Черноморским побережьем Кавказа, оказывается, нет ни Средне-Русской возвышенности, ни лесостепей, ни просто степей. Оказывается, между ними просто-напросто несколько часов лёта. Два затертых номера «Огонька», четыре улыбки девушки-стюардессы, карамелька при взлете и карамелька во время посадки. Пора бы привыкнуть. Глупо даже рассуждать на эту тему, думал я, стоя вечером на набережной в Гагре.

Над темным горизонтом косо висел тускло-багровый просвет. Море в темноте казалось спокойным, и поэтому странно было слышать, как волна пушечными ударами бьет в бетон, и видеть, как она вздымается над набережной метров на десять и осыпается с сильным шуршанием.

Ветра не было. Шторм шел где-то далеко в открытом море, а здесь он лишь давал о себе знать мощными, но чуть ленивыми ударами по пляжам.

Отдыхающие рассуждали о воде и атмосферных явлениях. Средних лет грузин, волнуясь, объяснял пожилой паре, отчего колеблется температура воды в Черном море.

— Но, Резо, вы забываете о течениях, Резо! — капризно сказала пожилая дама, с удовольствием произнося имя Резо.

— Течение? — почему-то волнуясь, воскликнул грузин и заговорил о течениях. Он говорил о течениях, о Средиземном море и о проливах Босфор и Дарданеллы. Он сильно коверкал русские слова, то и дело переходя на свой язык. Чувствовалось, что он прекрасно разбирается в существе вопроса, просто волнение мешает ему объяснить все, как есть.

— Как, Резо? — рассеянно протянула дама, глядя куда-то в сторону. — Разве сюда втекает Средиземное море?

Ее муж сказал веско;

— Да нет. Сюда идет Красное море от Великого, или Тихого океана, вот как.

Резо трудно было все это вынести. Он почти кричал, объяснял что-то про Гольфстрим, про разные течения и про Черное море. Он прекрасно все знал и, может быть, являлся специалистом в этой области, но ему мешало волнение.

— От Великого, или Тихого,— с удовольствием повторил из-под велюровой шляпы пожилой «отдыхающий».

Нервно, но вежливо попрощавшись, грузин ушел в темноту, а пара направилась под руку вдоль набережной. Мне стало не по себе при виде их сплоченности. Они были до конца друг за друга, и у них было единое представление о мире, в котором мы живем.

Я тоже пошел по набережной. Огоньки Гагры висели надо мной. Домики здесь карабкаются высоко в гору, но сейчас контуров горы не было видно — гора сливалась с темным небом, и можно было подумать, что это светятся в ночи верхние этажи небоскребов. Я прошел мимо экскурсионных автобусов, они стояли в ряд возле набережной. Шоферы-грузины сидели в освещенных кбинах и беседовали со своими друзьями-приятелями, которые толпились возле машин. Это были люди, каких редко увидишь в наших местах. На них были плоские огромные кепки. Они разговаривали так, словно собирались совершить нечто очень серьезное.

В тоннеле под пальмами плыли огоньки папирос. Я шел навстречу этим огонькам, то и дело забывая, что это именно я иду здесь, под пальмами, подумать только! Я, старый затворник, гуляю себе под пальмами. По сути дела, я еще был там, откуда я приехал. Там, где утром я завтракал в молочной столовой, чистил ботинки у знакомого чистильщика и покупал газеты. Там, где за час до вылета я зашел в телефонную будку, набрал номер и в ответ на заспанный голос сказал, что уезжаю, а после долгих и нервных расспросов даже сказал куда, назвал дом отдыха. Там, откуда я приехал, пахло выхлопными газами, как возле стоянки экскурсионных автобусов, но вовсе не роскошным парфюмерным букетом, как в этой пальмовой аллее.

— Звезда упала,— сказал впереди женский голос, прозвучавший как бы через силу.

— Загадай желание,— откликнулся мужчина.

— Надо загадывать, когда она падает, а сейчас уже поздно,— без тени отчаяния сказала женщина.

— Загадай постфактум,— посоветовал мужчина, и я увидел впереди тяжелые контуры велюровой шляпы.

По горизонту, отделяя бухту от всего остального моря, прошел луч прожектора. Я отправился спать. В холле дома отдыха дежурная передала мне телеграмму, в которой было написано: «Выезжаю, поезд такой-то, вагон такой-то, встречай, скоро будем вместе». Нечего было долго ломать голову — телеграмма от Ники. Вернее, от Веры. Дело в том, что ее имя Вероника. Все друзья зовут ее Никой, и это ей нравится, а я упорно зову ее Верой, и это является лишним поводом для постоянной грызни.

Дело в том, что эта женщина, Ника — Вера — Вероника, несколько лет назад вообразила, что я появился на этот свет только для того, чтобы стать ее мужем. Мы все тогда просто обалдели от песенки «Джони, только ты мне нужен». Ее крутили каждый вечер раз пятнадцать, а Вероника все время подпевала «Генка, только ты мне нужен». Я думал тогда, что это просто шуточки, и вот на тебе!

Самое смешное, что все это тянется уже несколько лет. Я выключаю телефон у себя в мастерской, неделями и месяцами торчу в командировках, встречаюсь иногда с другими женщинами и даже завязываю кое-какие романчики, я то и дело забываю о Вере, просто начисто забываю о ее существовании, но в какой-то момент она все-таки дозванивается до меня или приходит сама, сияющая, румяная, одержимая своей идеей, что только я ей нужен, и красивая, ой, какая красивая!

— Скучал? — спрашивает она.

— Еще как,— отвечаю я.

— Ну, здравствуй,— говорит она и подходит близко-близко.

И я откладываю в сторону то, что в этот момент у меня в руках: карандаш, кассету, папку с материалами. А утром, не оставив записки, перебираюсь к приятелю в пустую дачу. Приветик! Я опять ушел целым и невредимым.

— Во всяком случае, — говорит иногда она, — я освобождаю тебя от определенных забот, приношу этим пользу государству.

Она говорит это цинично и горько, но это у нее напускное.

Я понимаю, что давно надо было бы кончить эту комедию и жениться на ней. Иногда меня охватывает такая тоска... Тоска, которую Вера, я знаю, может унять одним движением руки. Но я боюсь, потому что знаю, что с той минуты, когда мы выйдем из загса, моя жизнь изменится коренным, а может быть, и катастрофическим образом.

Да, мне бывает неуютно, когда я ночью отхожу от своего рабочего стола к окну и вижу за рекой дом, который стоит там триста лет, но ведь человечество настолько ушло вперед, что может позволить отдельным своим представителям не заводить семьи. И наконец, черт возьми, «пароходы, строчки и другие долгие дела»? А может быть, мысли и чувства каждого, сливаясь с мыслями и чувствами поколений, передаются дальше, так же, как гены?

А Вероника и не думает стареть. Она влюбилась в меня, когда ей было двадцать лет, и с тех пор ни капельки не изменилась. Может быть, ей кажется, что прошли не годы, а недели? Шумная, цветущая, она — дитя Технологического института, и отсюда разные хохмы, и резкая манера говорить, а в глубине она до тошноты сентиментальна. Мне кажется, что она родилась на юге, но она говорит — нет, на севере.

Черт дернул меня позвонить ей сегодня утром за час до отлета, что я, забыл, дурак, что она не может злиться на меня больше часа? Ведь в то время, когда я летел, она уже развивала свою хваленую активность и, наверно, даже умудрилась достать путевку в этот самый дом отдыха:

— Во сколько приходит такой-то поезд? — спросил я дежурную. Она сказала, во сколько, и я поднялся по темной лестнице, вошел в свою комнату, разделся и заснул.

Надо сказать, что мне тридцать один год. Со спортом все покончено, однако я стараюсь не опускаться. Утренняя гимнастика, абонемент в плавательный бассейн — без этого не обходится. Правда, все эти гигиенические

процедуры — а иначе их не назовешь — летят к чертям, когда я заводжусь. А так как я почти постоянно на полном «заводе»... В общем, попробуйте поплавать! Во время «завода» я выключаю телефон и не отхожу от своего рабочего стола, спускаюсь только за сигаретами. Хозяйка приносит мне обед и кофе такой, что от него колотится сердце. Почти все мои товарищи ведут такой же образ жизни.

Раньше я работал в проектном бюро. Одна стена у нас была стеклянная, и зимою ранняя луна имела возможность наблюдать за работой сотни парней и девушек, склонившихся над своими досками. Мы все были в ковбойках. В глазах рябило от шотландской клетки, когда ты после перекура заходил в зал. Грань между институтом и этим бюро для всех нас стерлась, мы все продолжали выполнять какой-то отвлеченный урок, похожий на теорему, которая взялась неизвестно откуда. Чтобы понять, над чем мы работаем, нужно было сильно подумать, но многие из нас быстро утратили эту способность. Мне казалось тогда, что весь мир сидит в больших и низких залах, где одна стена стеклянная, вычерчивает разные узлы и насвистывает песенки трехлетней давности. А луна прицепляется к каждому из нас.

Потом мне стало представляться, что весь мир сидит до утра в серых skleпax своих мастерских, корчится в творческих муках, похожих на задержку мочеиспускания, томится у окна, думая о женской любви, которая, возможно, прочнее любого дома на той стороне реки, наутро начинает кашлять, и вот тебе на! — бац, в легких какие-то очажки!

Потом ты лечишься без отрыва от труда (уколы в правую ягодицу и порошок столовыми ложками), и пожалуйста...

— Теперь вы практически здоровы. А с психикой у вас все в порядке? Вы знаете, в организме все взаимосвязано. Нужно переменить образ жизни.

— Ты что, Генка, взялся за перпетуум-мобиле? Какой-то блеск в глазах...

— ...Как будто бы ты, Геннадий, сам не понимаешь, что организму нужен отдых.

Три года уже я никуда не ездил без дела, и вот я в Гагре. Я сплю голый в большой комнате, и Гагра

шевелится во мне, как толстое пресмыкающееся со свещающимися внутренностями.

Утром я увидел вместо окна плакат, призывающий вносить деньги в сберегательную кассу. На нем было все, что полагается: синее море, в углах симметрично кипарисы, виднелся кусок распрекрасной колоннады и верхушка пальмы. Я встал на этом фоне и крикнул на весь мир: «Накопил и путевку купил!» Потом вспомнил про телеграмму и стал одеваться. Посмотрелся в зеркало. Вид пока что не плакатный, но все впереди.

2

На вокзале, в кадушках, стояли пальмы. Из раскрытых окон ресторанной кухни веяло меланхолией и свежей бараньей кровью. По перрону, пряча глаза и букеты, прогуливались вразнобой пятеро мужчин в возрасте. Мне странно было видеть, что они гуляют вразнобой. По-моему, они должны были бы построиться друг другу в затылок и маршировать. За пять минут до прихода поезда на перроне появились неразговорчивые московские студенты. Из сумок у них высовывались дыхательные трубки, ласты и ракетки для бадминтона. Компания была первоклассная, надо сказать. Потом их бегом догнала одна — уж такая! — девушка... Но поезд подошел.

Первым выпрыгнул на перрон здоровенный блондин. Он бросил на асфальт чемодан, раскрыл руки и заорал: — О, пальмы в Гагре!

Он был неописуемо счастлив. Со знанием дела осмотрел «ту» девушку, подхватил чемодан и пошел легкой упругой походкой, готовый к повторению прошлогоднего сезона сокрушительных побед.

Поезд еще двигался. Мужчины в соломенных пляжах трусили за ним, держа перед собой букеты, как эстафетные палочки. Я сделал скачок в сторону, купил букет и побежал за этими мужчинами, уже видя в окне бледную от волнения Веронику. Она заметила у меня в руках букет и изумленно вскинула брови.

— Здравствуй, Ника,— сказал я, обнимая ее,— ты знаешь...

Мы вели удивительный образ жизни: ели фрукты, купались и загорали, а вечером весело ужинали в скверном ресторане «Гагрипш», весело отплясывали под более чем странный восточный джаз, и все это было так, как будто так и должно быть. Мы наблюдали за залом, в котором задавали тон блондины титанической выносливости, и, смеясь, называли мужчин «гагерами», а женщин «гагарами», а детей «гагриками». Совершая прогулки в горы или расхаживая по вечерним улицам Гагры, мы произносили доступные восточные слова: «маджари», «чача», «чурчхела»... Я называл Веронику Никой и каждый день приносил ей цветы, а она не могла нарадоваться на меня и хорошела с каждым днем.

Ей все здесь страшно нравилось: пряные запахи парков и меланхолия буфетчиков-армян, чурчхела и сыр-сулгуни и, разумеется, горы, море, солнце... Она уплывала далеко от берега в ластах и маске с дыхательной трубкой, ныряла и долго не появлялась на поверхность. Потом она выходила из воды, ложилась в пяти метрах от меня на гальку и поглядывала, блестя глазами, словно говоря: «Ну и дурак ты, Генка! Где еще такую найдешь?» На пляже мы не разговаривали друг с другом, считалось, что я работаю — сижу с блокнотом, пишу, рисую, обдумываю новые проекты. Я действительно сидел с блокнотом и писал в нем, когда Вероника выходила из воды: «Вот тебе на! Она не утонула. Ну и ну, на небе ни облачка. Ох-хо-хо, поезд пошел... Ту-ру-ру, он пошел на север... Эге-ге, хочется есть... Че-пу-ха! Съемка грушу...» и рисовал.



И так каждый день по несколько страниц в блокноте. Я не мог здесь работать. Все мне мешало: весь блеск, и смех, и шум, и гам, и Ника, хотя она и лежала молча. Но все-таки я делал вид, что работаю, и она не посягала на эти часы. Может быть, она понимала, что я этими жалкими усилиями отстаиваю свое право на одиночество. А может быть, она ничего не думала по этому поводу, а просто ей было достаточно лежать в пяти метрах от меня на гальке и блестеть глазами. Наверно, ей было

достаточно завтрака и обеда, и послеобеденного времени, и вечера, и той части ночи, что мы проводили вместе.

Она была совершенно счастлива. Все окружающее было для нее совершенно естественной и, казалось, единственно возможной средой, в которой она должна была жить с детства до старости. Казалось, она никогда не ходила в лабораторию, не пробивала свой талон в часах, что понаставили сейчас во всех крупных учреждениях. Никогда она не ежилась от холода под морозящим северным дождем, никогда не простаивала в унижительном ожидании возле подъезда моего дома, никогда не звонила мне по ночам. Всегда она была счастлива в любви, всегда она шествовала в очень смелом сарафане по пальмовой аллее навстречу любимому и верному человеку.

— Привет, гагер!

— Привет, гагара!

— Хочешь меня поцеловать?

Всегда она спрашивала так, зная, что я тут же ее поцелую и преподнесу ей магнолию, и мы чуть ли не вприпрыжку отправимся на пляж.

Вдруг она сказала мне:

— Почему ты ходишь все время в этой? У тебя ведь есть и другие рубашки.

Я вздрогнул и посмотрел на нее. В ее глазах мелькнуло беспокойство, но она уже шла напролом.

— Сколько у тебя рубашек?

— Пять, — сказал я.

— Ну вот видишь! А ты ходишь все время в одной. Может быть, пуговицы оторваны на других? Ну конечно! Разве у тебя были когда-нибудь рубашки с целыми пуговицами!

— Да, нет пуговиц, — сказал я, отводя взгляд.

— Пойдем, пришью, — сказала она решительно.

Мы пришли в мою комнату, я вытащил чемодан, положил его на кровать, и Ника, как мне показалось, с каким-то вождением погрузилась в его содержимое...

Я вышел из комнаты на балкон. Все было как положено: красное солнце садилось в синее море. Все краски были очень точные, югу чужды полутона. Внизу, прямо под балконом, на площадке, наша культурница Надико проводила мероприятие.

— Прекрасный фруктовый танец «Яблочко»! — кричала она, легко пронося по площадке свое полное тело.

Среди танцующих я заметил человека, который в день моего приезда на набережной спорил с грузином Резо по вопросу о течениях. Я с трудом узнал его. Крепкий загар скрадывал дряблость его щек, велюровую шляпу он сменил на головной убор сборщиков чая. Он совершенно естественно отплясывал в естественно веселящейся толпе. Он выкидывал смешные коленца, был очень нелеп и мил, видимо, начисто забыв в этот прекрасный миг, к чему его обязывает занимаемый пост и общая ситуация. Тут же я увидел его жену. Она шла прямо под моим балконом с двумя другими женщинами.

— Вы даже не знаете, какая я впечатлительная, — лепетала она, — когда при мне говорят «змея», я уже падаю в обморок.

Я стоял на балконе и смотрел на Гагру, на эту узкую, просто метров двести шириной, полосу ровной земли, зажатую между мрачно темнеющими горами и напряженно-багровым морем. Эта длинная и узкая Гагра, Дзвели Гагра, Гагрипш и Ахали Гагра, робко, но настырно пульсировала, уже зажигались фонари и освещались большие окна, автобусы включали фары, а звонкие голоса культработников кричали по всему побережью:

— Веселый спортивный танец фокстрот!

Кто может поручиться, что море не вспучится, а горы не извергнут огня? Такое ощущение было у меня в этот момент. Тонкие руки Ники легли мне на плечи. Она вздохнула и вымолвила:

— Боже мой, как красиво...

— Что красиво? — спросил я ровным голосом.

— Все, все, — еле слышно вымолвила она.

— Все это искусственное, — резко сказал я, и она отдернула пальцы.

— Что искусственное?

— Пальмы, например, — пробурчал я, — это искусственные пальмы.

— Не говори глупостей, — вскричала она.

— Зимой, когда уезжают все курортники, их красят особой устойчивой краской. Неужели ты не знала? Наивное дитя!

— Дурак! — облегченно засмеялась она.

— Блажен, кто верует, — прокрипел я. — Все искусственное. И эти парфюмерные запахи тоже. По ночам деревья опрыскивают из пульверизатора специальным химраствором, а изготавлиет этот раствор завод в Челябинской области. Копоть там, вонища! Перерабатывают каменный уголь и деготь...

— Ну хватит! — сердито сказала она.

— Все эти субтропики — липа.

— А что же не липа? — спросила она.

— Дождь и мокрый снег, глина под ногами, кирзовые сапоги, товарные поезда, пассажирские, пожалуй, тоже. Самолеты — это липа. Мой рабочий стол — не липа и твоя лаборатория тоже... Рентген... — помолчал, добавил я.

— Не понимаю, — потерянно прошептала она.

— Ну как же ты не понимаешь? Вот когда строили этот дом и возили в тачках раствор, а кран поднимал панели — это была не липа, а когда здесь танцуют «фруктовый танец «Яблочко» — это липа.

— Какую чушь ты мелешь, — воскликнула она. — Люди сюда приезжают отдыхать. Это естественно...

— Правильно. Но не мешало бы им подумать и о другом на такой узкой полоске ровной земли, — сказал я, но она продолжала свою мысль.

— Ведь ты же сам работаешь для того, чтобы люди могли лучше отдыхать.

— Я работаю ради самой работы, — сказал я из чистого пижонства, и она тут же вскричала:

— Ты пижон и сноб!

Каким-то образом я возразил ей, и она что-то снова стала говорить, я ей как-то отвечал, и долго мы спорили о чем-то таком, о чем, собственно, и не стоило нам с ней спорить.

— Генка, что с тобой сегодня происходит? — спросила наконец она.

— Просто хочется выпить, — ответил я.

«Гагрипш» был битком набит, и мы с трудом нашли свободные места за одним столом с двумя молодыми людьми — блондинами в пиджаках с узкими лацканами.

Они сетовали друг другу на то, что в Гагре «слабовато с кадрами, а если и есть, то все уже склеенные (взгляд на Веронику), и как ни крути, а видно, придется ехать в Сочи, где — один малый говорил — этого добра навалом».

Мы сделали заказ. Официантка несколько раз подбежала, а потом все-таки принесла что-то. В зал вошел Грохачев. Он шел меж столиков, такой же, как всегда, иронично-расслабленный, с неясной улыбкой на устах. Увидеть его здесь было неожиданно и приятно. Грохачев такой же затворник, как я, и работаем мы с ним в одной области, часто даже в командировки ездим вместе.

— Эй, Грох! — я помахал ему рукой, и он, раздобыв где-то стул, подсел к нам.

Оказывается, он оставил жену в Гудаутах и сейчас в гордом одиночестве шпарил в своем «Москвиче» домой.

Мы заговорили о своих делах. Под коньяк это шло хорошо, и мы забыли обо всем. Иногда я видел, как Вера танцует то с одним блондинчиком, то с другим. Они повеселели, им, видно, казалось, что дела у них пошли на лад. Потом они ушли в туалет, и после этого похода Вера танцевала уже только с одним блондином, а другой совершал бесплодные атаки в дальний конец зала.

Потом мы все впятером вышли на шоссе и стали ловить такси. Блондину ужасно везло. Он поймал «Москвич» и уселся в него с Вероникой и со своим приятелем, таким же, как он, блондином. А «Москвич», как известно, берет только троих. Я смотрел в ту сторону, где скрылись стоп-сигналы такси, и слушал Гроха. Он рассказывал о своей давней тяжбе с одним управлением, которое осуществляло его проект. Минут через пятнадцать он опомнился.

— Слушай, у меня же машина в сотне метров отсюда. Зачем ты отпустил Нику с этими подонками?

— Что, не знаешь Нику? — сказал я. — Она уже давно с ними расправилась и ложится спать.

Мы нашли его машину, сели в нее и поехали. Грох спросил:

— Вы с ней расписались наконец?

— Пока нет.

— Чего ты тянешь? Поверь, это не так уж страшно.
— Сколько километров отсюда до Гудаут? — спросил я.

Он посмеялся, и снова мы перешли на профессиональные темы. Странно, несколько лет назад мы могли болтать много часов подряд о чем угодно, а вот теперь, куда ни гни — все равно возвращаешься к работе.

Грох довез меня до дома. Я вылез из машины и сразу заметил Нику. Она сидела на скамейке и ждала меня. Я обернулся. Машина еще не отъехала.

— Грох, ты во сколько завтра едешь?

— Примерно в полдень.

— Твоя стоянка возле гостиницы? Может быть, я поеду с тобой.

— Ну что ж! — сказал Грох.

Он уехал, а я подошел к Нике. Она, смеясь, стала рассказывать о мальчиках, как они ее «кадрили», как это было смешно. Обнявшись, мы пошли к дому, который белел в темноте, в конце кипарисовой аллеи. Я не сказал Нике, что завтра уеду из этого рая, где наша любовь может расцвести и окрепнуть, где люди меняют тяжелые шляпы на головные уборы сборщиков чая. А уеду я не потому, что не люблю ее, а может быть, потому, что Грох катит домой и будет в своей норе раньше меня на неделю, если я останусь в этом раю.

5

Утром я уложил чемодан и благополучно проскользнул мимо столовой. Оставил у дежурной записку для Ники и вышел на шоссе. Автобусом я доехал до парка и пошел завтракать в чебуречную. Я знал, что там подают крепкий восточный кофе, и решил сразу, с утра, накачаться кофе вместо всех этих кефирчиков и ацидофилинов, чем потчуют в доме отдыха.

Чебуречная была под открытым небом, вернее, под кроной огромного дерева. С удовольствием я глотал обжигающую черную влагу, чувствуя, как проясняется мой заспанный мозг. Чемодан стоял рядом, и никто в мире не знал, где я нахожусь в этот момент. За соседним столиком ел человек в шляпе сборщика чая. Жир стекал у него по подбородку, он наслаждался, допивая

светлое вино, в котором отражалось солнце. Может быть, он наслаждался тем же, что и я.

Вдруг он отложил чебурек и позвал:

— Чибисов! Василий!

Смущенно улыбаясь и переминаясь с ноги на ногу, к нему подошел стриженный под бок парень в голубой «бобочке» и коричневых широких штанах.

— Курортный привет, товарищ Уваров!

— Садись. Давно приехал? — торопливо спросил Уваров, снял и спрятал за спину свою белую шляпу.

— Вчера прилетел.

— Ну, как там у нас? Пустили третий цех?

— Нет еще.

— Почему?

— Техника безопасности резину тянет.

— Безобразие! Вечно суют палки в колеса.

Они заговорили о строительстве. Уваров говорил резко, возмущенно, а Чибисов отвечал обстоятельно и с виноватой улыбкой.

— Дайте еще один стакан, — сердито сказал Уваров официантке. Она принесла стакан, и он налил в него цинандали.

— Пей, Василий!

— За поправку, значит, — с ухмылкой сказал Чибисов и поднял стакан двумя пальцами.

— Ну как тебе тут? — спросил Уваров. Чибисов залпом выпил цинандали.

— Хорошо, да только непривычно.

Уваров встал.

— Ну ладно! Тебе когда на работу выходить?

— Сами знаете, Сергей Сергич.

— Вот именно — знаю, смотри, ты не забудь. Ну ладно, пока. Пользуйся правом на отдых.

Он ушел. Чибисов сидел за столиком, вертел в пальцах пустой стакан и неуверенным взглядом обводил горящий на солнце морской горизонт. У парня было красное обожженное ветром лицо, шея такого же цвета и кисти рук, а дальше руки были белые, и, словно склероз, на предплечье синела татуировка. Мне хотелось выпить с этим парнем и сделать все для того, чтобы он поскорее почувствовал себя здесь в своей тарелке, потому что уж он-то знает, что такое лина, а что — нет, и он знает, что рай — это непривычное место для человека.

Я встал, поднял чемодан и пошел по аллее. Надо мной висели огромные листья незнакомых мне деревьев, аллею окаймляли огромные голубые цветы. Навстречу мне шла Ника. Я не удивился. Я удивился бы, если бы ее здесь не оказалось. Эта аллея была специально оборудована для того, чтобы по ней навстречу мне, сверкая зубами, глазами и волосами, шла тоненькая девушка Вероника — Вера — Ника. Она взяла меня под руку и пошла со мной.

— Что же, наша любовь — это тоже липа? — спросила она, улыбаясь.

— Это магнолия, — ответил я.

На шоссе нас догнал Грохачев. Он притормозил и спросил меня:

— Значит, не едешь?

— У меня есть еще десять дисей, — ответил я, — в конце концов я имею право на отдых.

Грох улыбнулся нам очень по-доброму.

— Ну, пока, — сказал он. — Все равно скоро увидимся.



**ГОРА**

Когда сейчас при взгляде на карту мира среди крутобоких материков я вижу тоненькую цепочку японских островов, мне даже не верится, что именно на этих ярко окрашенных камешках я провел три удивительные недели, что именно на них я встретил такое множество разных людей, что японская земля в течение трех недель замыкала мой горизонт.

Почему-то хочется начать этот сумбурный рассказ с описания Горы.

Мы много болтали о ней на обратном пути из Хиросимы в Токио. Неизменно все наши разговоры в конечном счете сводились к одному: увидим ли мы Гору? Она уже навязла в зубах, и шутки по ее адресу уже становились банальными. Последний взрыв остроумия возник тогда, когда администрация экспресса «Утренний ветерок» нижайше извинилась перед пассажирами за то, что из-за густой облачности им не удастся увидеть Гору.

Тут мы пошутили немного и подумали: «Ну, хватит!»

Однако мы продолжали вяло чесать языки и тогда, когда на такси поднимались из приморского курорта Атами в горный курорт Хаконе.

Желтое солнце плавало в легких неподвижных тучах, и шофер наш огорчился, и Хара огорчился, что из-за этих странных пустяковых туманностей мы не видим Гору. В конце концов была высказана надежда, что, может быть, завтра у нас это получится.

Честно говоря, я уже и не особенно хотел увидеть ее завтра. Столько было ожидания и столько было брошено на ветер слов, что я боялся разочарования. Ну, гора есть гора, а эта уж не так и высока ведь. Может быть,

лучше, если она по-прежнему будет скрываться за этим таинственным желтым свечением, таинственная, недосягаемая для глаз чужеземцев Гора?

Отель, в котором мы поселились в Хаконе, был огромен и пуст: зима была, не сезон. Только три старые английские дамы встретились нам утром. Печаль какая-то была в этом отеле, а в холле внизу под фотографией маститого попугая висело объявление: «Мы с прискорбием сообщаем о кончине нашего старого попугая Бимбо, которого многие наши гости хорошо знали и любили. Мы благодарим вас за привязанность к этому существу. Менеджер».

Присоединившись к скорби администрации, мы с Харой отправились играть в пинг-понг. Везде было пусто: и в баре, и в бассейне, и в спортзале. Шаги наши гулко стучали в высоких пустых коридорах. Я вообразил себе одинокую и печальную жизнь миллионера, и мне захотелось в Москву, в свою двухкомнатную квартиру или в компанию друзей, в галдящую толпу вокруг кофеварочной машины.

— Такуя, ты хотел бы один владеть этим шикарным домом?— спросил я Хару.

— Ага,— сказал он, но это не значило, что он хотел бы им владеть. Это означало, что он воспринял мой вопрос, зафиксировал его и сейчас готовит ответ.

Друг мой Такуя Хара блестяще владеет русским литературным языком, но разговорная речь для него пока несколько сложна, и ему требуется несколько секунд для ответа.

— Нет, пожалуйста, не хотел бы,— ответил он.

Ну, поиграли мы с ним в пинг-понг, потом вышли немного в баре, посмотрели в телевизоре ковбоев и отправились спать.

Утром всем было очень весело. Вальдемар Кристопович сильно шутил, Ирина Львовна тоже сильно шутила, я тоже сильно шутил, и очень сильно шутил Хара. Вообще мы как-то нарушали чинную тишину завтрака и, может быть, даже несколько шокировали пожилых люди. Шутили мы по поводу густой облачности, по поводу молочно-серого неба.

Мы уже забыли про эту Гору, поднимаясь ввысь в вагончике канатной дороги и наблюдая другие, более доступные горы, покрытые хвойным лесом, и наблюдая

домики внизу, и переваливая один перевал за другим, и остря по поводу прочности канатов, и болтая, болтая, болтая, радуясь долгожданному отдыху, венчавшему нашу поездку по Японии, когда Хара вдруг толкнул меня в бок и вскричал:

— Фудзи!

Я обернулся — и даже «ах!» застряло у меня в глотке.

Она была видна вся и занимала полнеба. Она была белая и большая среди зеленых и небольших. Наша желтая букашка, подвешенная в пропасти, ползла мимо нее. Это было совершенно невероятно — то, что она открылась нам вдруг вся и так просто! Лица наши осветились ее белым сиянием, а кроткое обычно лицо Хара стало торжественным.

Что-то было в этой Горе не передаваемое словами. Что-то было в этих минутах важное и сокровенное. Это была сильная и простая Японская Гора. Симметрия ее и тройная ее вершина гармонизировали всю округу, а может быть, и всю эту страну. Это было то, что для нас, русских, составляет Волга. Молча и медленно мы проехали мимо Фудзи в нашем смешном вагончике, с орехами в кармане и с «Торрис-виски».

Второй раз мы увидели Фудзию, когда уже отправлялись домой и стартовали из аэропорта Ханеда на Гонконг. Это было ранним утром. «Боинг» пропорол облака, Япония скрылась, и только снежная розовая от вставшего солнца Фудзи, возвышаясь над облаками, долго провожала нас. Долго виднелась, чтобы мы получше ее запомнили.



ЯВЛЕНИЕ ТЫСЯЧЕРУКОЙ

Когда поезд, постукивая, покачиваясь и виляя, выбирается из каменных джунглей Токио, иностранный пассажир прилипает к окну, желая увидеть сельский японский пейзаж, какие-нибудь домики, какие-нибудь рисовые поля под луной, перевернутые лодки, то есть

хочется немного идиллии. Огней становится все меньше, меньше, меньше, потом побольше, еще больше, больше, и снова через десять минут кажется, что ты и не выезжал из Токио.

Я вспомнил обширные пространства моей Родины и полную, непроглядную темноту за стеклом, когда ты ночью покуливаешь в тамбуре. Здесь на всем пути от Токио до Хиросимы только дважды за окном наступала полная темнота, и оба раза это был тоннель.

Светящиеся иероглифы и латинские буквы трепетали всю ночь внутри нашего спального вагона. Соусы Мицува, бурильные машины Микаса, шоколадные конфеты Гончаров, бензин Эссо... «Санья!», «Сони!», «Аполло!», «Сантори!», «Мариман..!» ..! ..!

Но вот из ночи, поднимаясь над горизонтом, выплыла гигантская, подсвеченная прожекторами богиця Каннон. Тысячерукая Каннон — одно из воплощений Будды. Высеченная из камня, она возвышалась в этой сумасшедшей ночи над всем мельтешением реклам, как гора, как Фудзи. Светящаяся гора с древней непонятной улыбкой.

А у ее подножия мертвенно отсвечивало под луной скопление яйцеобразных газгольдеров.



БОГИ, ХРАМЫ, ГАДАНИЯ

Мы в буддийском храме в районе Асакуса, в Токио. Алтарь Будды от толпы молящихся отделяет четырехугольная яма, взятая в крупную решетку. Туда бросают монеты. В храме довольно шумно: люди входят, выходят, не болтают, конечно, между собой, но сморкаются, кашляют. Призывая внимание бога, похлопывают в ладоши. Через головы летят монеты, звякают о решетку. Словом, довольно деловая обстановка. Ничего похожего на воскресные мессы в католических соборах или на православное богослужение.

Древние храмы отданы туристам. Вот храм Дайбутсу в священном городе Нара. Мы приближаемся к нему

по священному парку, а за нами бегут ласковые, но несколько нахальные священные олени, выпрашивают печенью. Тычется теплым влажным носом священный олень тебе в ладони, а сзади тебе под зад поддает другой олень: обрати, мол, и на меня внимание.

В билете указаны габариты гигантского Будды, скрытого под крышей храма. Высота тела — 16,21 м, окружность лица — 4,84 м, окружность глаза — 1,18 м, длина носа — 0,48 м. Будда этот очень велик, несколько мрачен, суров. Конечно, снимать его запрещается, но вокруг трещат кинокамеры — японцы, американцы и прочие туристы усердно выполняют свои туристские обязанности. Я тоже, не будь дураком, навожу свой «Кварц» на Будду.

В одной из колонн храма круглое отверстие — кто пролезет через него, тот, значит, будет счастлив. Отверстие рассчитано на изящное японское телосложение. Неприятность случилась с одним американцем. Задорный этот человек полез в дыру, старательно ввинчивался и — застрял: ни назад, ни вперед! Плечи мешают и другое место не способствует. Мы все, кто тут был, без различия политических взглядов и вероисповеданий, стали его тащить. «Мирное сосуществование», — подумал я, ухватившись за американскую ногу. Вытащили недотепу!

По дороге к синтоистскому храму на острове Миядзима бойко торгуют мелкие торговцы. «Сэр, купите любопытную чашечку!» На дне чашки изображена девица в прельстительном туалете. Наливаешь в чашку какую-нибудь жидкость и — пожалуйста, девица предстает в обнаженном виде. Деревянный древний храм прекрасен. Он стоит на сваях над голубой прозрачной водой. Ворота его, похожие на иероглиф, далеко в море. Мимо них проплывают старинные стилизованные кораблики, драконы с дизельными моторчиками. Несколько монахов деловито принимают деньги; они продают «омаори» — амулеты для мореплавателей и путешественников. Монахи не последние люди в туристском бизнесе.

Однажды я решил получить информацию о своей судьбе. Это было в Токио, в парке Уэно. Перед буддийским храмом стояли гадальные автоматы. Цена пустяковая — 10 иен. Я опустил монетку и вытащил длинную

бумажку, испещренную маленькими иероглифами. (Вообще я полюбил иероглифы. Они очень красивы сами по себе, что бы они ни означали. Недаром каллиграфия считается в Японии искусством.) Потом Ирина Львовна любезно перевела мне предсказание. Начиналось оно стихами:

Когда приблизишься,
По рукаву потянутся блики
От белых цветов хачи.
Цветы благоухают в лунном свете.

Затем следуют практические советы:

Нужно быстро идти вперед, не упуская момента.

Если все будут действовать дружно, будет удача.

При этом все-таки надо быть осторожным.

Не следует идти туда, где, как вы знаете, плохо.

То, что вы утратили, вряд ли вернется назад.

Путешествие будет удачным, без неприятностей.

В коммерческих делах вы будете иметь прибыль, но небольшую.

В области науки (искусства), если будете прилежным, добьетесь успеха.

Счастье вам принесет восточное направление.

В споре вы победите, но не нужно быть крикливым.

В отношении ваших служащих пока следует переждать — не увольнять и не нанимать новых.

И т. д.

Спустя несколько дней вечером мы гуляли с Такуей Хара и с Хироси Кимура по кварталу Синдзюко. На углу под черным зонтом сидел пожилой человек в черном шерстяном кимоно и в черной круглой шапочке. Иногда он зажигал ручной фонарик, давая понять, что гадает по линиям руки. Желая позабавиться, я бодро протянул ему ладонь. Толя (Такуя) и Сережа (Хироси) взялись переводить.

— Вы чужеземец, — сказал старичок.

Я поразился его проницательности.

— Вы литератор, — сказал он и после этого, быстро крутя мою ладонь, стал давать мне советы, аналогичные советам автоматического оракула из парка Уэно.

На перекрестке гулял сильный ветер, и в узких улочках Синдзюко раскачивались бумажные фонари и

гирлянды. Сильный ветер гнал мою судьбу по улочкам этого странного города, и лишь цепкие пальцы старого колдуна мешали мне броситься за ней вслед. Что же мне делать с моими служащими и принесет ли мне счастье восточное направление? Все-таки я до сих пор надеюсь, что это была шутка Сережи и Толи.

Буддизм, синтоизм, амулеты, гадальные автоматы — то, что имеет отношение к судьбе и душе человека, в тех или иных видах мелькало в пестрой и бесконечной ленте нашего путешествия. И наконец, мы подошли к Саду Камней — это святилище поклонников философии «дзен». «Дзен» — религия, не имеющая персонифицированного бога, религия, которая призывает смотреть в глубину своей души. Сад Камней — символ вечности. Отбросьте все ваши эгоистические мысли и побуждения, не воспринимайте внешних звуков, не думайте ни о чем, садитесь и спокойно смотрите на Сад Камней, попытайтесь раствориться в нем. Попытка к растворению в вечности — это и есть ваш молебен «дзен».

В самом деле, эти камни, разбросанные с естественностью, свойственной только природе, как острова, и симметричные линии гравия, этот макет бесконечности, действуют каким-то странным образом, если долго смотреть. Может быть, моя попытка испытать состояние «дзен» и удалась бы, если бы не внезапный вой сирены «Скорой помощи», донесшийся из-за стен.



УЛИЦЫ ГОРОДА ТОКИО

По вечерам на самых людных перекрестках столицы зажигаются объявления:

«Сегодня в городе Токио убито 7 человек, ранено 123».

Вот час «пик» в районе Гинза. Без конца, без конца, без конца тянутся блестящие автомобили. Проносится надземка. Наконец перекресток перекрыт. В путь устремляются бесчисленные ратн белых воротничков,

сверкающих ботинок, серых и коричневых пальто. Над толпой плывет и рвется сигаретный дым. Шарканье подошв, болтовня, смех, пузырьки молчания...

Над перекрестком проносится хриплый крик: «Аб-най!» Это означает: «Опасность!»

Опасный город, огромный город, волшебный, качающийся, мглистый и тревожный, магнитный город, плещущийся, лакомое блюдо, спрут, звезда — самый большой город мира.

Мы летели в Токио ночью все время над морем в крошечной темноте. И когда он появился внизу, с самолета, с десятикилометровой высоты, могло показаться, что все перевернулось и мы подлетаем сейчас к какой-нибудь туманности Андромеды.

Потом с автомобильной эстакады меня поразило безумие светящихся газов района Гинзы. «Безумие, ярмарка, водоворот! Как тут люди живут!» — так сказал однажды о Москве мой казанский приятель. А в общем-то ведь и в Токио, и в Париже, и в Москве люди живут себе — и в ус не дуют! У каждого своя циркуляция, свой уют, свой пузырь, который он проносит в любой самой шумной толпе.

Есть люди на вечерних улицах, объединенные чем-то общим. К примеру, рабочие в брезентовых робах, в желтых и зеленых касках. Может быть, их объединяет компрессор, подающий сжатый воздух к их перфораторам? Может быть, их осеняет длинная лапа экскаватора? Быстрые и веселые рабочие на вечерних улицах города Токио, что же вас объединяет в вашем ловком труде? Как называется эта объединяющая сила?

Должно быть, что-то объединяет и скучающих элитных господ, подъезжающих в шикарных автомобилях к подъездам ночных клубов. Определенно, у них есть что-то общее, хотя каждый замкнут в сферу хромированного металла и толстого стекла. Как именуются нити, связывающие этих господ?

А вот и девушки, встречающие джентльменов, девушки в кимоно, сгибающиеся в традиционном поклоне. Их, конечно, объединяют традиции.

Девушки из бара «Альбион», длинноногие европеизированные бестии, затянутые в белые брючки и белые курточки... Этим прелестниц объединяет ритм твиста.

А вот одинокий предприимчивый жук — кепка сдвинута на нос, кашне до ушей.

— Сэр, ду ю лайк герлс?

— Но.

— А! Бойс?

— Но.

— О! А ю америкен?

— Но.

— Фрэнч?

— Но.

— Джермен?

— Но.

— Ху?— Жук в полном недоумении.

— Рашен.

— О! О!— Жук отбегает в сторону и смотрит издали в спину.

А вот одинокий печальный Санта-Клаус с рекламным плакатом на спине.

А вот человек с мегафоном в руке. Он кричит, надрывается: его дядю несправедливо привлекли к суду. Все, кто любит справедливость, должны явиться на процесс и защитить его дядю.

Прошли, растирая синие носы, два американских солдата в штатской, не по сезону легкой одежде. Похоже, что сорвались парни в самоволку. Трепещут на зимнем ветру свечи на лотках продавцов газет. Трепещут старухи, чистильщицы сапог. Трепещут нейлоновые елочки. «Мерри Крисмас!» («Веселого рождества!»). «Тра-ля-ля, тра-ля-ля!» — медовый голос Фрэнка Синатры.

Течет мимо толпа одиночек: усталые клерки, подтянутые гуляки, девушки с кукольными личиками...

Вот я иду, одинокий иностранец: польский плащ, английские штиблеты, отечественный костюм. Я иду и ничего не понимаю — вышел на пятнадцать минут, а хожу уже два часа. Скажете вы, этот город мало приспособлен для прогулок. Да, это верно. Но почему он тянет меня все дальше и дальше в свой бензиновый, соевый, сигаретный лабиринт? Может быть, виной тому бесконечные светящиеся иероглифы, загадочные, как детские конструкции из спичек? Или бумажные фонари, качающиеся в узких переулках? Может быть, это столица Марса? Недаром так странны контуры рекламных башен.

Вот развеселая улица: с одной стороны — сплошной ряд стрип-шоу, с другой — кинотеатры. Справа нависают над тобой связки, гирлянды обнаженных женских грудей, слева на тебя нацелены бесчисленные гангстерские пистолеты. Здесь впору вконец растерять чувство юмора. Ходу, парень, ходу!..

Район Гинзы затихает рано. В 11 часов вечера уже почти нет прохожих, только шелестящие автомобильные реки текут по мостовой. Рабочие греются у костров. На перекрестках появляются маленькие дымящиеся тележки; они набиты «якитори» — удивительно вкусными шашлычками на деревянных палочках. Здесь закусывает простой люд. Хозяин ставит скамейку, трое или четверо присаживаются к тележке. Хозяин опускает брезентовую штору, замыкает пространство — и вот перед тобой только свеча, потрескивающие «якитори», усталые лица сотрапезников. Хозяин дружелюбно подмигивает иностранцу.

Я иду дальше по пустым улицам. Путь мой похож на полет летучей мыши. Где мой отель?

Приближается музыка, гул сотен голосов, шарканье подошв, и я вхожу в какой-то незнакомый квартал, где, оказывается, и не собираются ложиться спать. Снова блестящие автомобили, франты, девушки, раскрытые двери бесчисленных ночных клубов и баров, рекламы, бумажные фонари. Но в боковую улицу сворачивает одинокий велосипедист. Он едет замкнуто и шатко, пожилой человек в шапке с длинным козырьком, только нос торчит и поблескивают бедные очки. Он удаляется, а мне хочется его догнать и побежать рядом. Нет, я не собираюсь к нему приставать с расспросами. Просто он очень близок мне, и я слишком хорошо понимаю, что значит везти свой внутренний мир на двух маленьких колесах, на хрупких спицах уезжать в темноту. Я уважаю его — и все.



ТАКОЕ СЛОВО — „СПЛОЧЕННОСТЬ“!

Вот приплясывает на ветру группа смеющихся парней в зеленых нейлоновых куртках и каскетках. В руках у них плакаты с наспех накорябанными иероглифами. Ирина Львовна читает надписи:

«Наш хозяин Макумато — главный жадина Японии! Все на похороны главного жадины!»

Эх, как весело этим ребятам! Как они смеются, представляя себе своего хозяина, награжденного таким титулом! Они приплясывают, хлопают себя по бокам и друг друга по плечам. Все новые и новые ребята в каскетках подбегают к ним; их становится все больше и больше. Трелещи, Макумато! Вот слово, которое объединяет этих парней, — «сплоченность»!

Бесшумно летят вверх скоростные лифты гигантской Токийской башни. Девушки с кукольными личиками — лифтерши — тихими, нежными голосами благодарят туристов за посещение. «Спасибо, большое спасибо!» («Аригато, домо аригато!») На рукавах у девушек красные повязки с надписью: «Сплоченность!» Это знак солидарности с бастующими шахтерами.

Ах, девушки, милые девушки, оказывается, вы не просто рекламные символы высшего японского сервиса!

Шахтеры съехались в столицу из разных префектур. Намечена была грандиозная демонстрация перед парламентом в знак протеста против закрытия многих шахт. Отряды шахтеров двигались по мостовой, большие отряды коренастых людей в брезентовых робах и желтых касках с красными повязками на них. И на повязках опять это слово: «Сплоченность!»

Они шли и цели, пожилые рабочие сдержанно улыбались, молодые хохотали. Я уверен, что у каждого из них в душе царил в эти минуты тревожная революционная праздничность.

Они шли не в ногу и размахивали руками не в такт, но не сбивались в кучи и не топтались на месте. Их

объединял в этот момент не пронзительный свист милитаристских флейт, не гром устрашающих барабанов, не субординация, не погоны, а одно лишь торжественное слово — «сплоченность»!

Цепenea, я смотрел на их движения, и кожу мою охватывал озноб, который возникает от прекрасной музыки или от стихов, возникает у человека в минуты высшего душевного подъема.

Толпа на тротуарах молчала, и дрожали от непонятных чувств оскаленные радиаторы в автомобильной пробке.



ПАЧИНКО

В промозглом, сыром бензиновом чаду дрожат, переливаясь нежным голубым светом, буквы, составляющие дикую абракадабру: «Интернейшнл центр пачинко Нью-Мексико». Из окон на мостовую низвергаются джазовые обвалы. С улицы виден большой зал с длинными рядами таинственных блестящих аппаратов. Сквозь джаз прорываются резкие звонки, слышится грохот скатывающихся металлических шариков. То тут, то там вспыхивают красные лампы. Перед машинами стоят сумрачные мужчины с пустыми глазами. Правая рука беспрерывно нажимает рычажок — вылетают и кружатся по лабиринтам металлические шарики. В левой руке — дымящаяся сигарета. На голове — кепка, на шее — шарф, под ногами — окурки.

Пачинко — это азартная игра, завезенная в Японию из Гонконга. Вы покупаете в кассе несколько шариков и идете к аппарату. Перед вами застекленная поверхность с несколькими отверстиями. Цель — загнать шарик в одно из этих отверстий. Если вам это удастся, раздастся звонок, зажигается красный свет, и аппарат выбрасывает вам премию — определенное количество шариков. Но чаще всего шарики, бестолково покружив по поверхности, продравшись сквозь частокол малень-

ких столбиков, исчезают в нулевом отверстии, и вы оказываетесь на бобах. Если же вы в выигрыше, то можно подойти к кассе и обменять выигранные шарики на сигареты, консервы, конфеты, жевательную резинку. Нужно только усилием воли прекратить эту заразную игру.

Пачинко — это огромный бизнес. Во всех городах и на железнодорожных станциях существуют бесчисленные павильоны пачинко. Иногда это грязные забегаловки, иногда крупные заведения вроде «международного центра Нью-Мексико».

«Нью-Мексико» располагался напротив нашего отеля. Там я тоже однажды попал в эту азартную карусель. Купил десятка два шариков и стал неумело запускать их по одному, нажимая на рычаг. Рядом работал «профессионал». Он только презрительно покосился на меня. Презрительный глаз его сверкнул из облака сигаретного дыма. Карманы его оттопыривались: в них лежало несметное количество шариков. За стеклом перед ним одновременно плясало не меньше десятка шариков. Большой палец его правой руки непрерывно нажимал на рычаг, а остальные пальцы непрерывно захихивали в аппарат все новые и новые шарики. Аппарат его почти непрерывно звонил, выбрасывая премиальные порции. Мне удалось выиграть какую-то ерунду только на пятнадцатом шарике. Вместо двадцати у меня оказалось их теперь всего десять, но радость, возникавшая при удачном попадании, была так сильна, что я снова пустился в игру. Сосед работал рядом в непрерывном грохоте и звоне. Вдруг он затих. Я повернулся к нему — оказалось, что он совершенно прогорел в каких-нибудь несколько минут. Мой аппарат зазвонил и звонил после этого почти не переставая. Карманы мои разбухли от шариков. Сосед с философским спокойствием наблюдал за мной, а я совсем ошалел. Сосед тронул меня за плечо: хватит, мол, парень, иди получай выигрыш. Но я только помотал головой и, нажимая, нажимая, нажимая на рычаг, в две минуты просадил все. Сосед хрипло расхохотался и приподнял кепку. Я побрел к выходу.

На улице я долго стоял и смотрел в окно на зал пачинко. Сосед мой уже выкладывал у кассы новые деньги. Другие мужчины упорно торчали перед аппара-

тами, тупо глядя перед собой, не видя вертящихся шариков, чуть покачиваясь под грохот музыки, занимаясь этим общим делом каждый в одиночку.



ХИРОСИМА И ГЕРНИКА

— Япония — печальная страна, — сказал как-то раз поэт Кусака.

Мы прогуливались по узким улочкам в районе Синдзюко. Над нами в вечернем зеленом небе висела чудовищная реклама турецких бань.

Я вспомнил крики бейсболистов и взмахи их бит, крепкий шаг веселых демонстрантов, мелькающие рекламы, бешеный торговый раж Японии, поразительную автоматику заводов, и опять бейсболистов, и хриплые выкрики борцов «смо»...

— Печальная? Почему?

— Печальная страна, — повторил Кусака и отвел взгляд в сторону.

Крепенький такой, невысокий поэт, деловой ежик волос, деловые очки.

— Вы поэт, Кусака, вы ищете печаль.

Он не ответил. Что мог он объяснить мне, заезжему иностранцу? Поэты знают, где живет печаль, но это их секрет.

Я вспомнил, что мне рассказывали о Токио первых послевоенных дней. Гигантское пепелище, над которым поднимались лишь бесчисленные несгораемые шкафы — все, что осталось от семейных очагов. Вокруг этих шкафов начинала возрождаться жизнь — копали землянки, огораживали садики. Вон как вымахала эта жизнь — в стальной, железобетонный и алюминиевый город, лихорадочно деловитый город, где печаль — ищи-свищи!

Но вот наш поезд приближается к центру японской печали, к центру всемирной печали — к Хиросиме. Прямо с вокзала мы приехали в отель, в потрясающий модернистский «Хиросима Гранд-отель». Был яркий сол-

нечный день, и мы отправились по бурлящим хиросимским улицам к тому месту, где когда-то на стене банка отпечаталась тень сгоревшего, испепелившегося в один миг человека.

В толпе туристов мы постояли перед этой тенью. Стрекотали кинокамеры. Вдали виднелось произведение Корбюзье, Музей атомной бомбы — стеклянный пенал на железобетонных ногах. Мы подошли к памятнику и возложили венок. Рядом с памятником несколько торговцев продавали памятные открытки и сувениры.

В мрачном и странном тоннеле памятника, в его внешней и внутренней сферах было много скорби, но все-таки как-то не верилось, что здесь, на этом месте, когда-то бушевало смертоносное пламя. Может быть, яркое солнце, и купы чистой зелени, и вид города с рекламными башнями были тому виной, но надо было все время себя контролировать, все время напоминать себе о том, что это здесь, здесь, что это было здесь, где ты сейчас стоишь.

При возвращении из Парка Мира в отель мы прошли мимо бейсбольного стадиона. Оттуда доносился рев хиросимских болельщиков.

Со странным чувством я покидал этот город. Если чем и потрясла меня Хиросима, так это своей благотворной забывчивостью.

Под ярким солнцем в элегантных аллеях парка трехсоттысячный шумный город экспонирует перед многочисленными туристами последние следы своего горя.

Шофер такси рассказывает. Да, у него здесь погибли родственники, но сам он в это время был в Квантунской армии. Свидетелей взрыва сейчас осталось мало, в основном живет здесь приезжий народ.

«Искусство лучше напоминает о страшных днях человечества, чем вещественные доказательства», — подумалось мне, когда я вспомнил «Гернику», выставку Пикассо в токийском парке Уэно.

Страшные плакальщицы Пикассо и раненные кони, напоминающие о Лорке, весь раздираемый, разрушаемый звериной фашистской силой человеческий мир, все Герники, Ковентри, Киевы, Варшавы глядели на нас с огромных панно, с бесчисленных этюдов великого мастера.

И в поднятых кверху лицах молодых японских студентов жила память о Хиросиме.

Так, должно быть, и надо: забывать — и жить, а страшной памяти посвящать только значительные минуты одиночества. Ведь когда смотришь на «Гернику», остаешься совсем один, в какой бы плотной толпе ты ни стоял.



ПИСАТЕЛИ

Вот один из людей, знающих адрес печали: писатель Кайко, мой сверстник. Замшевая куртка, грубый свитер, резкий голос, отрывистый хохот, надменно вскинутая голова. Жизнь его странным образом связана с производством и распространением спиртных напитков. В пору своей бедности он служил в рекламном отделе фирмы, производящей виски и сакэ. В ту пору он изобрел странного, смешного человечка, эдакого японского Парюка, чудака и недотепу, большого поклонника продукции этой фирмы. Человечек появился на рекламках, в газетах и стал чрезвычайно популярным. Теперь он живет своей особой, не зависимой от Кайко жизнью. Тексты для него пишут другие.

— Реки виски, озера сакэ — вот источник моего пессимизма, — говорит Кайко.

— А вы пессимист?

— А как вы думаете? Лучшие годы молодости я посвятил черному делу.

— Это ужасно, да?

— Ужасно!

— Советую вам стать сторонником сухого закона. Может быть, избавитесь тогда от пессимизма.

— Ваше здоровье! — хохочет Кайко.

Мы ведем этот шуточный разговор, держа в руках подогретые бутылочки сакэ.

Шутки шутками, но Кайко описывает жизнь токийского дня. Он имеет доступ в те кварталы, где респек-

табельным джентльменам появляться не рекомендуется. Это остросоциальный и гневный писатель.

Мы сидим в баре «Вантей». Вдоль всей стойки тянется вделанная в нее полоса жести — это жаровня. Юноша-бармен перед каждым посетителем смазывает жаровню маслом, бросает на нее устриц, тонкие ломти мяса, лук, какие-то коренья, поджаривает все это на ваших глазах, ловко орудуя длинными деревянными палочками — «хаши».

Рядом с Кайко сидит его друг, совсем молодой писатель Оэ. В противоположность Кайко все на нем подогнано ниточка к ниточке, волосок к волоску — аккуратная прическа, элегантный костюм, за толстыми стеклами очков улыбающиеся вежливые глаза. У этого благовоспитанного молодого человека достало мужества написать резко антифашистский роман, непосредственно откликнувшийся на события политической жизни Японии.

Все помнят, конечно, как прямо на трибуне ножом фашистского убийцы был заколот генеральный секретарь Социалистической партии Японии.

Оэ написал об убийце. В его романе это юноша из respectable буржуазной семьи, жалкий мальчик, занимающийся онанизмом, измученный своими комплексами, стремящийся к самоутверждению любой ценой. Его приводит в стан фашистов преклонение перед их силой, ожесточенностью и решительностью, стремление и самому стать таким «суперменом».

После опубликования романа эти «супермены» настойчиво тревожили Оэ телефонными звонками, сипло выли в трубку и угрожали.

Ладно, что там о них говорить, разве мало других тем? Мы сидим с Кайко и Оэ в баре «Вантей» и говорим, говорим о пессимизме и оптимизме, о «новом романе» и о старом романе, о милых наших женщинах и детях, о разных морях, над которыми летали. Мы познакомились еще в Москве несколько месяцев назад, а сейчас сидим здесь. Тепло, потрескивает странное жаркое, за окнами квакают «форды» и «ниссаны». Бармен усиливает звук радио, хохочет Кайко, улыбается Оэ... Где же адрес японской печали?

...Однажды я проснулся рано и смотрел с десятого этажа вниз на мокрый утренний Токио, покрытый раз-

ноцветными кружками зонтов. Зонты бежали в разных направлениях, пути их пересекались, они кружили, исчезали, но появлялись новые. Тогда мне стало вдруг печально. А может быть, старый велосипедист, мой друг, ехал как раз по тому адресу? Страна эта показалась мне близкой, но в то же время далекой и туманной. Что узнал бы я о ней за три года, за десять лет? Можно досконально изучить язык и историю и располагать самыми точными статистическими данными, но раствориться в чужом народе нельзя. У души нет «НЗ», вся она отдана своей стране. Должно быть, поэтому и нельзя узнать точный адрес чужой печали.



РУССКОЕ ПЕНИЕ

Однажды профессор Курода пригласил нас в университет Васела. Великий знаток русской литературы, профессор ни о чем другом, кроме этого предмета, говорить не может. Мы шли по территории университета и вели какой-то литературный разговор, когда послышалось пение. Изумлению нашему не было предела — это была популярная наша песня: «И снег, и ветер, и звезд ночной полет...»

На ступенях административного университетского здания, стилизованного под Кембридж, молодежный хор распевал советскую песню. Парни и девушки в свитерах и джинсах покачивались обнявшись, а толпа слушателей, черноголовых студентов, бурно их приветствовала. Рядом стоял грузовик, в котором перемещаются по стране артисты этого популярного хора.

Пение вообще очень популярно в Японии. Поет 65 процентов населения. Есть бары, где только пьют и почти ничего не пьют. Они так и называются — «поющие бары». Там собирается молодежь, сидят с песенниками в руках и пьют хором. О популярности русских песен можно судить уже по тому, что самый известный такой бар называется «Катюша».

Есть еще бар «На дне». Он стилизован под мхатовские декорации к горьковской пьесе, и все надписи внутри сделаны по-русски. Курода повел нас однажды в этот бар. Там была печь, возле нее сидели певцы и подбрасывали в пламя поленья. Пели «Степь да степь кругом».

— Вот русские, — представили нас хозяину.

Хозяин, молодой, ослепительно улыбающийся человек, вежливо нас приветствовал, но был, должно быть, разочарован тем, что на нас обычное европейское платье, а не сапоги и поддевки. Бар приносит хозяину доход незначительный, потому что в нем обычно сидят певцы, а не пьяницы, но он содержит его, потому что «самому интересно». Человек этот, должно быть, основательно погружен в мир этой странной, стилизованной России, в мир косовороток, самоваров, балалаек.

Мы уже испытывали сильные приступы ностальгии, и поэтому нам было приятно в этом баре, хотя многое и смешило.

Странное свойство есть у современных людей: как сильны в нас традиционные представления о чужих странах, идущие из далекого прошлого! Конечно, все японцы знают о спутниках и русских космонавтах, но где-то в глубине их ума живет привычный образ России — необъятная снежная степь, оглащаемая только звоном валдайских колокольцев.

Кстати, и у нас так же. Перед отъездом моим в Японию многие мои высокоинтеллигентные знакомые хитро подмигивали и говорили:

— Понятно, старик!.. Гейши, рикши!..

Понятно, Япония — страна гейш, «чайный домик вроде бонбоньерки», и семеро самураев и т. д.

Стоит ли говорить о том, что рикш в Японии нет ни одного, а что касается гейш...



Настоящие японские гейши сохранились только в городе Киото, в знаменитом квартале Гион. Во всех других местах если и есть что-нибудь похожее, то это только подделка, рекламная стилизация.

Гейши в квартале Гион живут своей обособленной от американизированной Японии жизнью, и в самом квартале свято поддерживается стиль и дух XVII века.

Нас привез туда господин Иода, сценарист знаменитого фильма «Рошамон». Гион поразил нас своим неожиданным после неоновой свистопляски центра спокойствием, сумерками и тишиной. Здесь нет ни одной световой рекламы. Над входом в маленькие легкие домики висят только тихие — электрические все же — фонари.

Хозяйка чайного домика, старушка с удивительно добрым лицом, встретила нас традиционными поклонами. Вместе с ней кланялось еще несколько старушек. У входа мы расстались со своими ботинками, надели шлепанцы и поднялись по лестнице. Наверху мы расстались и со шлепанцами и в одних уже носках ступили на «татами». Расселись вокруг низкого — два вершка от пола — стола.

Хозяйка внимательно посмотрела на Вальдемара Кристаповича и сказала:

— Какое у вас умное, хорошее лицо.

— Ну что вы... — засмутился наш руководитель.

— Как вы перенесли путешествие? — с непередаваемым участием поинтересовалась хозяйка.

— Спасибо, хорошо, — с некоторой растерянностью пробормотал он.

Хозяйка повернулась ко мне.

— Какое у вас умное, хорошее лицо.

— Вот как?... — глупо ухмыльнулся я.

— Как вы перенесли путешествие? — посочувствовала она и мне.

— Запросто, — буркнул я.

Ирина Львовна на те же фразы, обращенные к ней, реагировала спокойно. Она-то знала, что хозяйка просто-напросто выдерживает ритуал XVII века.

Появились две гейши, совсем молоденькие девушки в старинных кимоно, с невероятно высокими и замысловатыми башнями причесок. Это были даже не гейши, а так называемые «майко» — девушки, ждущие посвящения в сан гейши. К их туалету и прическам предъявляется гораздо больше требования, чем у взрослых гейш. Чего только не было в их волосах: цветы, гребни, какие-то серебряные перекладины, гирлянды маленьких колокольчиков.

Девушки присели рядом с нами и стали подливать нам зеленый чай и сакэ и занимать приятной и легкой беседой. «Как вы провели путешествие? Какое у вас умное, хорошее лицо!» и т. д. Постепенно все-таки мы отошли от ритуала, и я рассказал несколько невинных анекдотов. Майко-сан весело смеялись.

— Какой у иностранцев интересный юмор! — сказала одна.

Другая взялась рисовать и очень быстро каждому из нас преподнесла по портрету.

Появилась взрослая, царственно красивая и величественная гейша. Нам объяснили, что это одна из самых популярных гейш — телевизионная «звезда». Да-да, эти девушки XVII века выступают по телевидению.

Потом пришла пожилая гейша, почти уже вышедшая в тираж. Она взяла струнный старинный инструмент, так называемый «шамисэн», заиграла на нем и запела гортанным горьким голосом. Майко-сан начали танец. Вслед за ними соло танцевала красавица гейша. Как выяснилось потом, танцы эти были уже сверх программы, только лишь из уважения к русским гостям.

В загадочных этих танцах было много еле уловимых движений, наполненных символами, недоступными нам, грубым чужеземцам. Лишь Иода, великий знаток старинны, все это прекрасно понимал и был в полном восторге. Мы же лишь догадывались, что в этом есть что-то важное, значительное. Нам лишь оставалось любоваться старинной грацией танцовщиц.

После танцев мы откланялись. На прощание и

поцеловал руку хозяйке, что привело ее в легкое смятение.

Я нарочно подчеркиваю целомудренность нашего визита к гейшам для того, чтобы рассеять не совсем правильные представления об этом институте. Настоящие гейши из квартала Гион — это отнюдь не женщины легкого поведения, это артистки, волей или неволей посвятившие свою жизнь поддержанию утопченнейших традиций японского средневековья. Жизнь их оплетена сложной сетью старинных предрассудков и, может быть, даже феодальных порядков, но так уж они живут.

Другое дело токийские проститутки, рядящиеся под гейш. Их можно видеть каждый вечер на задних сиденьях гигантских автомобилей с почтенными пьяными господами, директорами компаний и концернов.

Традиции квартала Гион — это очень дорогие традиции. Иода, человек с гипертрофированным чувством гостеприимства, сильно раскошелился, пригласив нас туда. Но богатство не всегда открывает двери чайных домиков. Рокфеллер, сунувший под дверь банковский билет в миллион долларов, был бы немедленно выставлен вон. Надо быть другом дома или иметь очень солидные рекомендации, для того чтобы увидеть танцы гейш и услышать звуки «шамисэна».

Впрочем, в Японии много традиций, доступных всем, даже Рокфеллеру.



ПРАЗДНИК В АСАКУСА

Однажды я случайно наблюдал собрание токийских пожарников. Это были не простые пожарники, а старейшины, человек пятнадцать, мудрецы и казначеи этого цеха. Они вошли в помещение в черных средневековых костюмах — на плечах пелерины с красными геральдическими знаками, худые старческие ноги обтянуты рейтузами. Они были преисполнены суровости и важности.

Сели, поджав под себя ноги, на «татами» и, попивая кока-колу, приступили к обсуждению предстоящего традиционного праздника пожарных команд.

Но самое удивительное сочетание традиций и модерна пришлось нам наблюдать на предновогоднем народном празднике «хагоита».

Некогда, несколько веков назад, при дворе императора самураи ввели в ход игру, напоминающую бадминтон. Ракетками они перебрасывали друг другу волан с хвостиком из птичьих перьев.

С тех пор ракетки «хагоита» утратили свое значение и превратились в украшение для жилищ. За неделю перед Новым годом в районе Асакуса устраивается традиционный базар «хагоита». Сотни ларьков разбиваются на площади перед буддийским храмом. Здесь продают «хагоита» самых всевозможных расцветок и размеров, от маленьких до гигантских и очень дорогих. На ракетках изображения артистов театра «Кабуки» или каких-либо других популярных людей. В 1961 году самой ходкой ракеткой была ракетка с изображением Юрия Гагарина.

Здесь развлекался простой народ. Жарили «якитори», жарили орешки, в медленных центрифугах взбухла розовая сахарная вата. Над головами плыли резиновые крокодилы, драконы, зайцы, длинные колбаски, огромные шары. В ларьках энергично торговали «хагоита» молодые продавцы в кимоно. «Хай!» — кричали они, когда кто-нибудь делал покупку.

А если ты покупаешь самую дорогую гигантскую ракетку, продавцы окружают тебя, хлопают в ладони и трижды кричат: «Хай! Хай! Хай!»

Тут уж операторы телевидения и фотокорреспонденты бросаются со всех ног.

Музыка, музыка... Японские песенки, твист, «Катюша»...

«Цок-цок-цок!» — некто прошел на деревянных колodках вместо башмаков.

Почтенные господа с зонтиками в руках.

Тедди-бойс в кожаных куртках.

Дамы в мехах.

Бедные девушки на тоненьких каблукках.

Предсказатель судьбы перед черной доской с мелом в руке, словно учитель.

Объявление полиции: «Берегитесь темного босса! Здесь действует темный босс».

Люди «темного босса» — трое ухмыляющихся квадратных парней.

— Хай! Хай!

Башня вся в огнях. Огненное небо.

В зубах у вас сахарная вата, в одной руке «хагоита», в другой трещотка.

До свидания, Япония!

Я обрываю здесь свои записки, хотя мог бы их продолжать еще на сотне страниц. Все это — случайные наблюдения. Это Япония, показавшая мне несколько из своих тысяч лиц. Когда-нибудь, надеюсь, мне удастся еще раз посетить эту страну. Сосед наш с маленьких островов за небольшим Японским морем — это человек крепкий, деловой, интересный. Надо почаще встречаться с ним.





P A C C K A S E

Высокий мужчина в яркой рубашке навывпуск стоял па солнцепеке и смотрел в небо, туда, где за зданием гостиницы «Украина» накапливалась густая, мрачноватая синева.

«В Филях, наверное, уже льет», — думал он.

В Филях, должно быть, все развезло. Люди бегут по изрытой бульдозерами земле, прячутся во времянках, под деревьями, под навесами киосков. Оттуда на Белорусский вокзал приходят мокрые электрички, а сухие с Белорусского уходят туда и попадают под ливень и сквозь ливень летят дальше — в Жаворонки, в Голицыно, в Звенигород, где по оврагам текут ручьи, пахнет мокрыми соснами и белые церкви стоят на холмах. Ему вдруг захотелось быть где-нибудь там, закутать Ольку в пиджак, взять ее на руки и бежать под дождем к станции.

«Только бы до Лужников не докатилась», — думал он.

Сам он любил играть под дождем, когда мокрый мяч летит на тебя, словно тяжелое пушечное ядро, и тут уже не до шуток, тут уже не поводишь, стараешься играть в пас, стараешься играть точно, а ребята дышат вокруг, тяжелые и мокрые, идет тяжелая и спешная работа, как на корабле во время аврала... Но на трибунах лучше сидеть под солнышком и смастерить себе из газеты шляпу.

Он оглянулся и позвал:

— Ольга!

Девочка лет шести прыгала в разножку по «классикам» в тени большого дома. Услышав голос отца, она подбежала к нему и взяла за руку. Она была послушной. Они вошли под тент летней закуской, которая так и называлась: «Лето». Мужчина еще раз оглянулся на тучу.

«Может быть, и пройдет мимо стадиона», — прикинул он.

— Пэ,— сказала девочка,— рэ, и, нэ, о, сэ, и, тэ, мягкий знак...

Она читала объявление.

Под тентом было, пожалуй, еще жарче, чем на ули-

це. Розовые лица посетителей, сидящих у наружного барьера, отсвечивали на солнце. Отчетливо блестели капельки пота на лицах. Страшно было смотреть, как люди едят горячие супы, а им еще подносили трескучие шашлыки.

— Сэ,— продолжала девочка,— и опять сэ, о... Папа, сложи!

Отец взглянул на объявление: «Приносить с собой и распивать спиртные напитки строго воспрещается».

— Что там написано? — спросила девочка.

— Чепуха,— усмехнулся он.

— Разве чепуху пишут печатными буквами? — усомнилась она.

— Бывает.

Он пошел в дальний тенистый угол, где сидели его приятели. Там пили холодное пиво. Девочка шла рядом с ним, белобрысенькая девочка в синей матроске и аккуратной плиссированной юбочке, с капроновыми бантиками в косичках, а на ногах белые носочки. Вся она была очень воскресной и чистенькой, такой примерно-показательный ребенок, вроде тех, которые нарисованы на стенках микроавтобусов: «Знают наши малыши, консервы эти хороши». Ее не приходилось тянуть, она не гладела по сторонам, а спокойно шла за своим папой.

Ее папа был когда-то спортсменом и кумиром трех близлежащих улиц. Когда он весенним вечером возвращался с тренировки, на всех трех близлежащих улицах ребята выходили из подворотен и приветствовали его, а девчонки бросали на него взволнованные взгляды. Даже самые заядлые «ханурики» почтительно поднимали кепки, а подполковник в отставке Коломёйцев, который без футбола не представлял себе жизни, останавливал его и говорил:

— Слышал, что растешь. Расти!

А он шел в серой кепочке «букле», в каких ходила вся их команда — дубль мастеров, шел особой, развинченной футбольной походкой, которая вырабатывается не от чего-нибудь, а просто от усталости (только пажоны нарочно вырабатывают себе такую походку), и улыбался мягкой улыбкой, и все в нем пело от молодости и от спортивной усталости.

Это было еще до рождения Ольги, и она, понятно, этого еще не знает, но для него-то эти шесть лет прошли,

словно шесть дней. К тому времени, к ее рождению, он уже перестал «расти», но все еще играл. Летом футбол, зимой хоккей — вот и все. С поля на скамью запасных, а потом и на трибуны, но все равно — летом футбол, зимой хоккей... Шесть летних сезонов и шесть зимних...

Он рассуждал сам с собой: «Ну и что? Чем плохо? Межсезонье, осень, весна — периоды тренировок... А что у тебя есть еще?.. Приветик, у меня есть жена... Жена? Ты говоришь, что у тебя в постели есть женщина?.. Я говорю, что у меня есть жена. Семья, понял? Жена и дочка... О, даже дочка! Даже о дочке ты вспомнил... Футбол, хоккей, хоккей, футбол... Тебе не надоело?.. Господи, разве спорт может надоест? И потом еще у меня есть завод... А он тебе не надоел?.. Стоп, на завод посторонним вход воспрещен... Ну ладно... Итак, завод и футбол, да? И еще жена, дочка?.. А что? Семью обеспечиваю, полторы бумаги в месяц и премиальные... Я, между прочим, рационализатор. И друзей у меня, между прочим, полно. Вон они сидят: Петька Струков и Ильдар, Владик, Женечка, Игорь, Зямка, Петька-второй тоже — все здесь. Сдвинули два столика. Насорили рачьими клешнями, и лужи уже на столе. Гоп-компания. Все одногодки. А сколько вам лет? Э-э, мы все с двадцать девятого. Всем тридцать два, стало быть».

— Это что, Серега, твоя пацанка? — спросил Петька-второй.

— Ага.

Он сел на подставленный ему стул и посадил девочку на колени. Ей было неудобно, но она сидела смирно.

— Сиди тихо, Ольсю, сейчас получишь конфетку.

Ему подвинули кружку пива и тарелку раков, а девочке он заказал лимонаду и двести граммов конфет «Ну-ка, отними». Друзья смотрели на него с огромным любопытством. Они впервые видели его с дочкой.

— Понимаешь, у Алки сегодня конференция, — объяснил он Петьке Струкову.

— В воскресенье? — удивился Игорь.

— Вечно у них конференции, у помощников смерти, — усмехнулся Сергей и добавил чуть ли не виновато: — А теща в гости уехала, вот и приходится...

Он показал глазами на голову девочки. Волосики у нее были разделены посередине ниточкой пробора.

— Пей пиво, — сказал Ильдар, — холодное...

Сергей поднял кружку, обвел глазами друзей и усмехнулся, наклонив голову, скрывая теплоту. Он любил свою гоп-компанию и каждого в отдельности и знал, что они его тоже любят. Его любили как-то по-особенному, наверное, потому, что когда-то он был среди всех самым «растущим», он рос на глазах, он играл за дублеров. У него были хорошие физические данные и сильный удар, и он поле видел. И женился он по праву на самой красивой из их девочек.

Сергей держался своих друзей. Только среди них он чувствовал себя таким, как шесть лет назад. Все они прочно держались друг друга, и посторонние не допускались. словно связанные тайной поручкой, они несли в тесном кругу свои юношеские вкусы и привычки, тащили все вместе в неведомое будущее кусочек времени, которое уже прошло... Нападающие и защитники женились, переходили в запас, становились болельщиками, у них рождались дети, но дети, жены и весь быт были где-то за невидимой чертой той мужской московской жизни, в которой опоздавшие бегут от метро к стадиону, словно в атаку, а на трибунах волнение и всех оцепяет огромное весеннее чувство солидарности. Они не понимали, почему это их девчонки (те самые болельщицы и партнерши по танцам) стали такими занудами. Теперь они играли в цеховых командах и за пивом вспоминали о том времени, когда они играли в заводских командах и как кого-то из них приглашали в дубль мастеров, а Серега уже играл за дубль и мог бы выйти в основной состав, если бы не Алка. Это все они — Алки, Нинки, Тамарки, зануды...

— Папа, не надо отламывать ему голову, — сказала девочка.

Сергей вздрогнул и заглянул в ее внимательные и строгие голубые глаза, Алкины глаза. Он опустил руку с красным красавцем раком. Этот голубой взгляд, внимательный и строгий. Восемь лет назад он остановил его: «Убери руки и приходи ко мне трезвый». Такой взгляд. Можно, конечно, трепаться с ребятами о том, как надоела «старуха», а может быть, она и действительно надоела, потому что нет-нет, а вдруг тебе хочется познакомиться с какой-нибудь девочкой с сорокового года, пловчихой или гимнасткой, и ты знакомишься, бывает, но этот взгляд...

— И ноги ему не выдергивай.

— Почему? — пробормотал он растерянно, как тогда.

— Потому, что он, как живой.

Он положил рака на стол.

— А что же мне с ним делать?

— Дай его мне.

Оля взяла рака и завернула его в носовой платок.

Вокруг грохотали приятели.

— Ну и пацанка у тебя, Сергей! Вот это да!

— Ты любишь рака, Оленька? — спросил Зямка, у которого не было детей.

— Да, — сказала девочка. — Он задом ходит.

— О-хо-хо! О-хо-хо! — изнемогали соседние столики. — Вот ведь умница! Умница!

— А ну-ка, замолчите! — прикрикнул Петька Струков, и соседние столики замолчали.

Ильдар вынул таблицу чемпионата и расстелил ее на столе, и все склонились над таблицей и стали говорить о команде, о той команде, которая, по их расчетам, должна была выиграть чемпионат, но почему-то плелась в середине таблицы. Они болели за эту команду, но болели не так, как обычно болеют несведущие фанатики, выбирающие своего фаворита по каким-то непонятным соображениям. Нет, просто их команда — это была Команда с большой буквы, это было то, что, по их мнению, больше всего соответствовало высокому понятию «футбольная команда». На трибунах они не топали ногами, не свистели и не кричали при неудачах: «Меньше водки надо пить!» — потому что они знали, как все это бывает, ведь «пшенку» может выдать любой самый классный вратарь: мяч круглый, а команда — это не механизм, а одиннадцать разных парней.

Вдруг с улицы из раскаленного добела дня вошел в закускую человек в светлом пиджаке и темном галстуке — Вячеслав Сорокин. Его шумно приветствовали:

— Привет, Слава!

— С приездом, Слава!

— Ну как Ленинград, Слава?

— Город-музей, — коротко ответил Сорокин и стал всем пожимать руки, никого не обошел.

— Здравствуй, Олюсь! — сказал он дочке Сергея и ей пожал руку.

— Здравствуйте, дядя Вяча! — сказала она.

«Откуда она его знает? — подумал Сергей. — Да еще зовет его Вячей».

Сорокину подвинули пиво. Он пил и рассказывал о Ленинграде, куда он ездил на родственное предприятие с делегацией по обмену опытом.

— Удивительные архитектурные ансамбли, творения Растрелли, Росси, Казакова, Кваренги... — торопливо выкладывал он.

«Успел уже и там культуры нахвататься», — подумал Сергей.

Он тоже был в Ленинграде, когда играл за дублеров, но он был тогда режимным парнем и мало что себе позволял, даже не успел тогда познакомиться ни с кем.

— ...колонны дорические, конические, готические, калифорнийские... — выкладывал Сорокин.

— Молчу, молчу... — сказал Сергей, и все засмеялись.

Сорокин сделал вид, что не обиделся. Щелчками он сбил со стола на асфальт останки рака и придвинулся к таблице. Он прикурил у Женечки и сказал, что, по его мнению, команда сегодня проиграет.

— Выиграл, — сказал Сергей.

— Да нет же, Сережа, — мягко сказал Сорокин и посмотрел ему в глаза, — сегодня им не выиграть. Есть законы игры, теория, расчет...

— Ни черта ты в игре не понимаешь, Вяча, — холодно усмехнулся Сергей.

— Я не понимаю? — сразу завелся Сорокин. — Я книги читаю!

— Книжки! Ребята, слышите, Вяча наш книги читает! Вот он какой, наш Вяча.

Сорокин сразу взял себя в руки и пригладил свои нежные редкие волосы. Он улыбнулся Сергею так, словно жалел его.

«Да, я не люблю, когда меня зовут Вячей, — казалось, говорила его улыбка, — но так называешь меня ты, Сергей, и у тебя ничего не получится, не будут ребята называть меня Вячей, а будут звать Славой, Славиком, как и раньше. Да, Сергей, ты играл за дублеров, но ведь сейчас ты уже не играешь. Да, ты женился на самой красивой из наших девочек, но...»

Сергей тоже сдержался.

«Спокойно, — думал он. — Как-никак друзья».

Он поднял голову. Брезентовый тент колыхался, словно сверху лежал кто-то пухлый и ворочался там с боку на бок. Помещение уже было набито битком. Сидевший за соседним столиком сумрачный человек в кепке-восьмиклинке тяжело поставил кружку на стол, сдвинул кепку на затылок и заговорил, ни к кому не обращаясь:

— Сам я приезжий, понял? Нездешний... женщина у меня здесь в Москве, баба... Короче — живу с ней. Все!

Он стукнул кулаком по столу, надвинул кепку и замолчал, видимо, надолго.

Сергей вытер пот со лба — здесь становилось невыносимо жарко. Сорокин перегнулся через стол и шепнул ему:

— Сережа, выведи отсюда девочку, пусть поиграет в сквере.

— Не твое дело, — шепнул ему Сергей в ответ.

Сорокин откинулся и опять улыбнулся так, словно жалел его. Потом он встал и одернул пиджак.

— Извините, ребята, я пошел.

— На стадион приедешь? — спросил Петька.

— К сожалению, не смогу. Надо заниматься.

— В воскресенье? — опять удивился Игорь.

— Что поделаешь, экзамены на носу.

— За какой ты курс сейчас сдаешь, Славка? — спросил Женечка.

— За третий, — ответил Сорокин. — Ну, пока, — сказал он. — Общий привет!.. — Помахал он сжатыми ладонями. — Ольсю, держи! — улыбнулся он и протянул девочке шоколадку.

— Э, подожди, — окликнул его Зямка, — мы все идем. Здесь становится жарко.

Все встали и гурьбой вышли на раскаленную добела улицу. Асфальт пружинил под ногами, как пенопластиковый коврик. Туча не сдвинулась с места. Она по-прежнему темнела за высотным зданием.

— А ты на стадион поедешь? — примирительно обратился к Сергею Сорокин.

— А что, ты думаешь, я пропущу такой футбол?

— Ничего я не думаю, — устало сказал Сорокин.

— Ну не думаешь, так и молчи.

Сорокин перебежал улицу и сел в автобус, а все ос-

тальные медленно пошли по теневой стороне, тихо разговаривая и посмеиваясь. Обычно они выходили с шумом-гамом, Зямка рассказывал анекдоты, Ильдар играл на гитаре, но сейчас среди них была маленькая девочка, и они не знали, как себя вести.

— Куда мы идем? — спросил Сергей.

— Потянемся потихоньку на стадион, — сказал Игорь. — Посмотрим пока баскет на малой арене, там женский полуфинал.

— Папа, можно тебя на минуточку? — сказала Оля.

Сергей остановился, удивленный тем, что она говорит, совсем как взрослая. Друзья прошли вперед.

— Я думала, мы пойдем в парк, — сказала девочка.

— Мы пойдем на стадион. Там тоже парк, знаешь, деревья, киоски...

— А карусель?

— Нет, этого там нет, но зато...

— Я хочу в парк.

— Ты не права, Ольга, — сдерживаясь, сказал он.

— Не хочу я идти с этими дядями, — совсем раскапризничалась она.

— Ты не права, — тупо повторил он.

— Мама обещала покатать меня на карусели.

— Ну пусть мама тебя и катает, — с раздражением сказал Сергей и оглянулся.

Ребята остановились на углу.

У Оли сморщилось личико.

— Она же не виновата, что у нее конференция.

— Мальчики! — крикнул Сергей. — Идите без меня! Я приеду к матчу!.. — Он взял Олю за руку и дернул: — Пойдем быстрее.

«Конференции, конференции, — думал он на ходу, — вечные эти конференции. Веселое воскресенье! Чего доброго, Алка станет кандидатом наук. Тогда держись. Она и сейчас тебя в грош не ставит».

Он шел быстрыми шагами, а девочка, не поспевая, бежала рядом. В правой руке она держала завернутого в платочек рака. Из ее кулачка, словно антенны маленького приемника, торчали рачьи усы. Она бежала веселая и читала вслух буквы, которые видела:

— Тэ, кэ, а, нэ, и... Пап!

— Ткани! — сквозь зубы бросал Сергей. — Мясо! Галантерея!

«Кандидат наук и бывший футболист-неудачник, имя которого помнят только самые старые пройдохи на трибунах. Человек сто из ста тысяч. «Да-да, был такой, ага, помню, быстро сошел...» А кто виноват, что он не стал таким, как Нетто, что он тогда не поехал в Сирию, что он... Уважаемый кандидат, учешая женщина, красавица... Ах ты, красавица... Ей уже не о чем с ним говорить. Но ночью-то находится общий язык, а днем пусть она говорит с кем-нибудь другим, с Вячей например, он ей расскажет про Кваренги и про всех остальных и про колонны там разные — все выложит в два счета. Ты разменял четвертую десятку. А, ты опять заговорил? Ты сейчас тратишь четвертую. На что? Отстань! Кончился спорт, кончается любовь... О, любовь! Что мне стоит найти девчонку с сорокового года, пловчиху какую-нибудь... Я не об этом. Отстань! Слушай, отстань!»

В парке они катались на карусели, сидели рядом верхом на двух серых конях в синих яблоках. Сергей держал дочку. Она хохотала, заливалась смехом, положила рака коню между ушей.

— И рак катается! — кричала она, закидывая головку.

Сергей хмуро улыбался. Вдруг он заметил главного технолога со своего завода. Тот стоял в очереди на карусель и держал за руку мальчика. Он поклонился Сергею и приподнял шляпу. Сергея покорибила эта общность с главным технологом, ожиревшим и скучным человеком.

— Дочка? — крикнул главный технолог.

«Располным-полна коробочка, есть и ситец и парча...»

— Сын? — крикнул Сергей на следующем круге.

«Пожалей, душа-зазнобушка, молодецкого...»

Главный технолог кивнул несколько раз.

«...пле... еча!»

— Да-да, сын! — крикнул главный технолог.

«Ну и пластиночки крутят на карусели! Нет, он все-таки симпатичный, главный технолог».

Оля долго не могла забыть блистательного кружения на карусели.

— Папа-папа, расскажем маме, как рак катался?

— Слушай, Ольга, откуда ты знаешь дядю Вячу? — неожиданно для себя спросил Сергей.

— Мы его часто встречаем с мамой, когда идем на работу. Он очень веселый.

«Ах, вот как, он, оказывается, еще и веселый,— подумал Сергей.— Вяча — весельчак. Значит, он снова начал крутить свои финты. Ох, напросится он у меня».

Он оставил Ольгу на скамейке, а сам вошел в телефонную будку и стал звонить в этот институт, где шла эта мудрая конференция. Он надеялся, что конференция кончилась, и тогда он отвезет дочку домой, сдаст ее Алке, а сам поедет на стадион, а потом проведет весь вечер с ребятами.

В трубке долго стонали длинные гудки, наконец они оборвались, и старческий голос сказал:

— Алё?

— Кончилась там ваша хитрая конференция? — спросил Сергей.

— Какая-токая конференция? — прошамкала трубка.— Сегодня воскресенье...

— Это институт? — крикнул Сергей.

— Ну, институт.

Сергей вышел из будки. Воздух струился, будто плавился от жары. По аллее шел толстый распаренный человек в шелковой «бобочке» с широкими рукавами. Он устало отмахивался от мух. Мухи упорно летели за ним, кружили над его головой, он им, видимо, нравился.

«Та-ак»,— подумал Сергей, и у него вдруг чуть не подогнулись ноги от неожиданного, как толчок в спину, страха. Он побежал было из парка, но вспомнил об Ольге. Она сидела в тени на скамеечке и водила рака.

— Даже раки, даже раки, уж такие забияки, тоже пятятся назад и усами шевелят,— приговаривала она.

«Способная девочка,— подумал Сергей.— В мамочку».

Он схватил ее за руку и потащил. Она верещала и показывала ему рака.

— Папа, он такой умный, он почти стал как живой!

Сергей остановился, вырвал у нее рака, переломал его пополам и выбросил в кусты.

— Раками не играют,— сказал он,— их едят. Они идут под пиво.

Девочка сразу заплакала в три ручья и отказалась идти. Он подхватил ее на руки и побежал.

Выскочил из парка. Сразу подвернулось такси. В горячей безвоздушной тишине промелькнула внизу Москва-река, похожая на широкую полосу серебряной фольги, открылась впереди другая река, асфальтовая, река под названием Садовое кольцо, по которому ему лететь, торопиться, догонять свое несчастье. Девочка сидела у него на руках. Она перестала плакать и улыбалась. Ее захватила скорость. В лицо ей летели буквы с афиш, вывесок, плакатов, реклам. Все буквы, которые она выучила, и десять тысяч других — красных, синих, зеленых — летели ей навстречу, все буквы одиннадцати планет солнечной системы.

— Пэ, жэ, о, рэ, мягкий знак, жэ, лэ, рэ, жэ, у, е, жэ... Папа, сложи!

«Пжорьжлржуеж,— проносилось в голове у Сергея.— Почему так много «ж»? Жажда, жестокость, жара, женщина, жираф, желоб, жуть, жир, жизнь, желток... «Папа, сложи!» Попробуй-ка тут сложи на такой скорости».

— У тебя задний мост стучит,— сказал он шоферу и оставил ему сверх счетчика тридцать копеек.

Он вбежал в свой дом, через три ступеньки запрыгал по лестнице, открыл дверь и ворвался в свою квартиру. Пусто. Жарко. Чисто. Сергей огляделся, закурил, и эта его собственная двухкомнатная квартира показалась ему чужой, настолько чужой, что вот сейчас из другой комнаты может вдруг выйти совершенно незнакомый человек, не имеющий отношения ни к кому на свете. Ему стало не по себе, и он тряхнул головой.

«Может, путаница какая-нибудь?» — подумал он с облегчением и включил телевизор, чтобы узнать, начался ли матч.

Телевизор тихо загудел, потом послышалось гудение трибун, и по характеру этого гудения он сразу понял, что идет разминка.

«Она, может быть, у Тamarки или у Галины», — подумал он.

Спускаясь по лестнице, он убеждал себя, что у Тamarки или у Галины, и уговаривал себя не звонить. Все же он подошел к автомату и позвонил. Ни у Тamarки, ни у Галины ее не было. Он вышел из автомата. Солнце

жгло плечи. Ольга прямо на солнцепеке прыгала в разножку по «классикам».

Она подошла и взяла его за руку.

— Папа, куда мы пойдём теперь?

— Куда хочешь, — ответил он. — Пошли куда-нибудь.

Они медленно пошли по солнечной стороне, потом он догадался перейти на другую сторону.

— Почему ты растерзал рака? — строго спросила Оля.

— Хочешь мороженого? — спросил он.

— А ты?

— Я хочу.

Переулками они вышли на Арбат прямо к кафе.

В кафе было прохладно и полутемно. Над столиками во всю стену тянулось зеркало. Сергей смотрел в зеркале, как он идет по кафе, и какое у него красное лицо, и какие уже большие залысины. Ольги в зеркале видно не было, не доросла еще.

— А вам, гражданин, уже хватит, — сказала официантка, проходя мимо их столика.

— Мороженого дайте! — крикнул он ей вслед.

Она подошла и увидела, что мужчина вовсе не пьян, просто у него лицо красное, а глаза блуждают не от водки, а от каких-то других причин.

Оля ела мороженое и болтала ножками. Сергей тоже ел, не замечая вкуса, чувствуя только холод во рту.

Рядом сидела парочка. Молодой человек с шевелюрой, похожей на папаху, в чем-то убеждал девушку, уговаривал ее. Девушка смотрела на него круглыми глазами.

— Хочешь черепаху, дочка? — спросил Сергей.

Оля вздрогнула и даже вытянула шейку.

— Как это черепаху? — осторожно спросила она.

— Элементарную живую черепаху. Здесь недалеко зоомагазин. Сейчас пойдём и выберем тебе первоклассную черепаху.

— Пойдём быстрее, а?

Они встали и пошли к выходу. В гардеробе приглушенно верещал радиокомментатор и слышался далекий, как море, рев стадиона. Сергей хотел было пройти мимо, но не удержался и спросил у гардеробщика, как дела.

Заканчивался первый тайм. Команда проигрывала.

Они вышли на Арбат. Прохожих было мало, и машин тоже немного. Все в такие дни за городом. Через улицу шел удивительно высокий школьник. В расстегнутом сером кителе, узкоплечий и весь очень тонкий, красивый и веселый, он обещал вырасти в атлета, в центра сборной баскетбольной команды страны. Сергей долго провожал его глазами, ему было приятно смотреть, как вышагивает эта верста, как плывет высоко над толпой красивая, модно постриженная голова.

В зоомагазине Оля поначалу растерялась. Здесь были птицы, голуби и зеленые попугаи, чижи, канарейки. Здесь были аквариумы, в которых, словно металлическая пыль, серебрились мельчайшие рыбки. И наконец, здесь был застекленный грот, в котором находились черепахи. Грот был ноздреватый, сделанный из гипса и покрашенный серой краской. На дне его, устланном травой, лежало множество маленьких черепах. Они лежали вплотную друг к другу и не шевелились даже, они были похожи на булыжную мостовую. Они хранили молчание и терпеливо ждали своей участи. Может быть, они лежали, скованные страхом, утратив веру в свои панцири, не ведая того, что их здесь не едят, что они не идут под пиво, что здесь их постепенно всех разберут веселые маленькие дети и у них начнется довольно сносная, хотя и одинокая жизнь. Наконец одна из них высунула из-под панциря головку, забралась на свою соседку и пошлепала прямо по спинам своих неподвижных сестер. Куда она ползла и зачем, она, наверное, и сама этого не знала, но она все ползала и ползала и этим понравилась Оле больше других.

Папа действительно купил эту черепаху, и ее вытащили из грота, положили в картонную коробку с дырочками, напихали туда травы.

— Что она ест? — спросил папа у продавщицы.

— Траву, — сказала продавщица.

— А зимой чем ее кормить? — поинтересовался папа.

— Сеном, — ответила продавщица.

— Значит, на сенокос надо ехать, — пошутил папа.

— Что? — спросила продавщица.

— Значит, надо, говорю, ехать на сенокос,— повторил свою шутку папа.

Продавщица почему-то обиделась и отвернулась. Когда они вышли на улицу, начался второй тайм. Почти из всех окон были слышны крики — это шел репортаж. Оля несла коробку с черепахой и заглядывала в дырочки. Там было темно, слышалось слабое шуршание.

— Она долго будет живой? — спросила Оля.

— Говорят, они живут триста лет,— сказал Сергей.

— А нашей сколько лет, папа?

Сергей заглянул в коробку.

— Наша еще молодая. Ей восемьдесят лет. Совсем девчонка.

Рев из ближайшего окна возвестил о том, что команда сравняла счет.

— А мы сколько живем? — спросила девочка.

— Кто мы?

— Ну мы — люди...

— Мы меньше,— усмехнулся Сергей,— семьдесят лет или сто.

Ох, какая там, видно, шла драка! Комментатор кричал так, словно разваливался на сто кусков.

— А что потом? — спросила Оля.

Сергей остановился и посмотрел на нее. Она своими синими глазами смотрела на него пытливо, как Алка. Он купил в киоске сигареты и ответил ей:

— Потом суп с котом.

Оля засмеялась.

— С котом! Суп с котом! Папа, а сейчас мы куда поедем?

— Давай поедем на Ленинские горы, — предложил он.

— Идет!

Солнце спряталось за университет и кое-где пробивало его своими лучами насквозь. Сергей поднял дочку и посадил ее на парашет.

— Ой, как красиво! — воскликнула девочка.

Внизу по реке шел прогулочный теплоход. Тень Ленинских гор разделила реку пополам. Одна половина ее еще блестела на солнце. На другом берегу реки лежала чаша Большой спортивной арены. Поля не было видно. Видны были верхние ряды восточной стороны, до отказа заполненные людьми. Доносились голоса дикторов,

по слов разобрать было нельзя. Дальше был парк, аллеи и Москва, Москва, необозримая, горящая на солнце миллионом окон. Там, в Москве, его дом, тридцать пять квадратных метров, там, в Москве, на всех углах расставлены телефонные будки, в каждой из которых можно узнать об опасности, в каждой из которых может заколотиться сердце и подогнуться ноги, в каждой из которых можно наконец успокоиться. Там, в Москве, все его тридцать два года тихонько разгуливают по улицам, аукаясь и не находя друг друга. Там, в Москве, красавиц полно, сотни тысяч красавиц. Там мудрые институты ведут исследовательскую работу, там люди идут на повышение. Там его спокойствие возле станка, там его завод. Там его спокойствие и тревоги, его весенняя любовь, которая кончилась. Там его молодость, которая прошла, как веселый, невероятно высокий школьник, по тренировочным залам и стадионам, по партам и пивным, танцплощадкам, по подъездам, по поцелуям, по музыке в парке... Там все, что с ним еще будет. А что потом? Суп с котом.

Сергей держал девочку за руку и чувствовал, как бьется ее пульс. Он посмотрел сбоку на ее лицо, на задранный носик, на открытый рот, в котором, как бусинки, блестели зубы, и будто что-то вдруг случилось с ним, стало легче, потому что он подумал о том, как его дочка будет расти, как ей будет восемь лет и четырнадцать, потом шестнадцать, восемнадцать, двадцать, как она поедет в пионерлагерь и вернется оттуда, как он научит ее плавать, какая она будет модница и как будет целоваться в подъезде с каким-нибудь стилигой, как он будет кричать на нее и как они вместе когда-нибудь куда-нибудь поедут, может быть к морю.

Оля водила пальцем в воздухе, писала в воздухе какие-то буквы.

— Папа, угадай, что я пишу.

Он смотрел, как над стадионом и над всей Москвой двигался палец девочки.

— Не знаю, — сказал он. — Не могу понять.

— Да ну тебя, папка! Вот смотри! — И она стала писать на его руке: — О-л-я, п-а-п-а...

Мощный рев, похожий на взрыв, долетел со стадиона, Сергей понял, что Команда забила гол.

Дядя Митя заправлялся в пельменной и соображал. Без всякого внимания и сосредоточенности он отправлял в рот пельмени, бульон, автоматически перчил, подсаживал, подливал уксусу, а сам в это время чутко следил через стеклянную стевку за стоянкой такси.

Зимний сезон для таксиста в Крыму время скучное. Работы мало, а шашапки и подавно, но сегодня что-то было особенно — слишком уж много скопилось на стоянке машин.

Плотными рядами стояли здесь «Волги» из Симферополя и местные, ялтинские, были здесь также феодосийские машины, севастопольские, а в стороне от общей кучи стоял черный ЗИЛ дяди Мити.

Иные водители спали у рулей, иные читали, большинство, собравшись в толпу, обсуждало разные вопросы, а дядя Митя заправлялся вот в пельменной и соображал:

«Если я тут очереди буду ждать, погорю. Если на Алушту стронусь или к санаторию «Донбасс», может, погорю, а может, и нет. Но ежели я там кого подберу, то обратное все равно на индексе шпарить; Симферополь третий день самолеты не принимает, пассажиров нет, не годится. Но здесь-то ждать — дело гиблое. Того и гляди Жорка Барбарян прокатит, сорвет мне всю коммерцию».

Так и не приняв никакого решения, дядя Митя вышел из пельменной. На стоянку он не пошел, а стал прогуливаться по близлежащему переулку. Издали он увидел, как из ворот рынка вышла его теща. Ежели бы за кулинарные успехи присваивали научные звания, то теща дяди Мити давно стала бы профессором. Сейчас она выносила с рынка связанных за лапки трех курей. Оставалось только облизнуться при виде тех курей. Вот ведь работенка выдалась на старости лет — домой не успеваешь заскочить похарчиться. А похарчишься дома, так тебя за это время так обставят, будь здоров! Как раз и подкатит за это время Жорка Барбарян. Остается трескать эти пельмени, будь они неладны.

А теща-то, теща... Идет, как плывет, как та самая гусыня плывет.

Дядя Митя вспомнил, какой была теща лет тридцать назад до войны — ладная была такая бабенка, веселая, разбитная. Массовиком она тогда работала в санатории «Парижская коммуна», а дядя Митя как раз привез в тот санаторий на «паккарде» ответственного товарища из КрымЦИКа.

Вот ведь история получилась у него с тещей, просто смех. Женился он сразу после войны уже тридцатитрехлетним мужиком. Ну, женился и хорошо — жена, теща, родственники, полный комплект. Только раз на гулянке под Октябрьские завели на патефоне старую пластинку «Сашка, ты помнишь наши встречи в приморском парке на берегу!» Прокрутили и хорошо, но теща просит еще раз ее поставить. «Напоминает,— говорит,— мне эта пластинка один вечер». — «Какой же это вечер?» — интересуется дядя Митя, которому и самому эта пластинка напоминает один вечер. «Так, один странный волшебный вечер,— со значением туманится теща,— я тогда работала в культмассовом секторе». В общем, слово за слово, и вспомнили они санаторий «Парижская коммуна», и «паккард», и вальс-бостон, после которого отправились в парк погулять, и друг друга вспомнили. Хорошо, что жены дяди Митиной на кухне не было во время этих воспоминаний, не видела она, как покраснела теща и руками на него замахала. Вот ведь как иной раз бывает.

С того дня установились между дядей Митей и его тещей замечательные товарищеские отношения. Всегда теща держала его сторону в спорах с женой, и кормила хорошо, и внуков приучала уважать батьку. Вот что значит иметь общий романтический секрет.

«Да,— подумал сейчас дядя Митя, глядя на проходящую вдали тещу,— прямо и смех, и грех, и грецкий орех».

Тут он увидел идущего к стоянке такси человека в заграничном плаще и с чемоданом в руке. Это был я.

— Черный ЗИЛ вас устроит, товарищ?— спросил меня дядя Митя.

— Вполне,— ответил я.

— В Симферополь едете?— спросил он.

— Да.

— Тогда позвольте ваш чемоданчик.

Он схватился за ручку, я придержал, но он настоял и понес чемодан впереди.

На стоянке водители закричали:

— Опять ты очередь нарушил, дядя Митя!

— Товарищ на ЗИЛ претендует, — на ходу показал на меня дядя Митя.

— Мне все равно в конечном счете, — сказал я, — ЗИЛ, «Чайка», «Волга»... — Разумеется, я шутил.

— Видите, гаврики? — сказал дядя Митя. — Это особый случай.

— Химик ты, Митька! — сердито сказал ему его сверстник Семен Вольф.

— Сема, ша! Закончим этот разговор. Прошу, товарищ, садитесь. Сиденье кожаное. Сейчас поедем, радио включим. Поедем стремительно и под джаз. Одну минуточку!

Окрыленный первым успехом, дядя Митя снова побежал в переулок. Минут пять он там рыскал, а потом выудил с автобусной остановки трех женщин с узлами и кошелками. Не глядя на водителей, он провел женщин к машине, усадил их на заднем сиденье, запихал часть узлов в багажник, а часть навалил женщинам на колени.

— Ну и химичит дядя Митя, — говорили водители.

— Некрасиво ведет себя товарищ, — сказал молодой водитель, недавно демобилизованный с флота Горбачев.

— Красиво — некрасиво, а он сегодня будет в порядке, — возразил Вольф.

«Еще бы одного человечка бог послал», — страстно мечтал дядя Митя.

И тут, как в сказке, добавился еще один, мордатый дядька в драповом пальто. Теперь дядя Митя был в полном порядке, на высшем уровне.

— Мне мне первое местечко не уступите? — обратился последний пассажир к первому, то есть ко мне. — Уступите, пожалуйста, поскольку я туберкулезный инвалид. Вы не смотрите, что я такой здоровый. Внешняя упитанность ни о чем не говорит.

Он весело захихикал, вытаскивая из внутреннего кармана трубочку рентгеновского снимка.

— Хорошо, хорошо,— торопливо сказал я,— пожалуйста, если это нужно для здоровья.

От инвалида исходил крепкий винный дух. Этим утром он уже успел побегать по набережной, отправляя в свой желудок все, что попало,— портвейн так портвейн, кубанская так кубанская, шампанское — опять туда же.

«Какой-то гипноз,— думал я, сидя на откидном сиденье, теснимый узлами и коленями женщин.— Ведь я мог спокойно поехать один на «Волге», вон их сколько, и женщины могли занять «Волгу», это какой-то гипноз».

Дядя Митя, отъехав от стоянки, удовлетворенно хмыкнул, потом, покрутив по горбатым улочкам старой Ялты и выехав на широкую Московскую улицу, опять хмыкнул и, наконец, выбравшись на шоссе и переключая скорость, хмыкнул совсем уже довольный и оглянулся на пассажиров. Задняя часть машины уютно была набита людьми и узлами. Почти полный комплект. Конечно, еще одного человека на второе откидное не мешало бы, ну, да ладно, может быть, по дороге подберем.

Из-за поворота выкатил встречный ЗИЛ Жорки Барбаряна. Дяде Мите показалось сначала, что идет Жорка порожняком. Нет, не такой человек Жорка — на заднем сиденье у него все-таки кто-то маячил.

— Э-и-ей, дядя Митя!— крикнул Жорка, высовывая голову из окна, и в голосе его, конечно, было восхищение сноровкой старшего товарища. Дядя Митя только успел ему сделать ручкой. Жорку он уважал. Подпирает молодежь, на ходу подметки режет. Но только не сегодня. Сегодня дядя Митя почти в полном комплекте. Чуть-чуть лопухнул сегодня Жора. Ну, ничего, он свое возьмет.

Дядя Митя опять обернулся к пассажирам.

— Что, дорогой товарищ, девочки тебя там еще не одолели?— обратился он ко мне.— А девочки-то смотри какие сдобные, жаркие, пух-перо, душички-ватрушечки. Эх, кабы я тещи не боялся, приголубил бы вас всех!

Женщины эти, пожилые, темные лицом и суровые, вовсе не располагали к подобным шуточкам, но от дяди Митиных слов как-то сразу они отогрелись, поправлять

стали платки и махать на него руками — шут, мол, с тобой, изыди, мол, сатана!

— Не обижайтесь, бабоньки! — весело закричал дядя Митя. — Я человек не обидный, козлиных слов не употребляю.

— Другие есть, знаете, товарищ, — обратился он ко мне, — палец зашибет, так ругается, весь изматерится, как сукин сын, а я нет. Ну, иногда скажу чего-нибудь под сливочным маслом, так это так, просто для веселья.

Он на минуту задумался, вспомнив, как позавчера в парке на техосмотре Семка Вольф палец свой зашиб. Вот уже материл, вот уж сквернословил за этот палец. Надо же, какие бывают люди!

Туберкулезный инвалид вдруг цапнул его за колено.

— Эй, водитель, штаны-то у тебя, я гляжу, хромовые!

— Трофейные, — сказал дядя Митя.

— Я и гляжу, что трофейные!

— Сносу нет.

— Я и гляжу, что сносу нет!

Дядя Митя с улыбкой стал смотреть на инвалида, а инвалид, развернув бычью шею, с улыбкой смотрел на него. Поняли они друг друга.

Инвалид вынул рентгеновский снимок, развернул его и приложил к ветровому стеклу всем на обозрение. Он болел туберкулезом уже лет десять, все время лечился, все время лечился удачно, пользовался льготами и не тужил. Рентгеновские снимки он любил даже больше, чем свои фотографические карточки.

— Вот, — сказал он, — видите, красота какая! Пневмоторакс-то какой, а? Раньше у меня слева был красавец — распустили, а теперь справа наложили и тоже получился замечательный.

— Батюшки-светы! — ахнули сзади женщины. — Это что же такое?

— Это, сестрички, газ! Дуют мне его в бок через иглу по шестьсот кубиков в неделю.

— Бациллярный, браток? — спросил дядя Митя инвалида. Сам он туберкулезом не болел, но разбирался в этой болезни через больных, которых много возил по трассе Симферополь—Ялта.

— Нет, — ответил инвалид, — теперь я чистый. Да они мне теперь и не нужны.

— Что вам не нужно?— поинтересовался я.

— Бациллы Коха мне больше не нужны. Квартиру я уже получил у себя в Керчи, ха-а-рошая квартира. Вообще, товарищи, между прочим, кроме шуток, между нами, лично я туберкулезу только благодарный. Сами посудите, бесплатно жил в замечательных здравницах. Людей посмотрел, себя показал. В прошлом году в Теберде был 8 месяцев. Высокогорный курорт, живописное место, культурное общество, медицинские сестры. Останови, браток, у буфета, заправиться надо.

— Ага, а вот у нас был случай,— подхватил дядя Митя. Он любил, когда пассажир попадался разговорчивый, но особенно забалтываться не давал, потому что самому нравилось поговорить.— Вот, значит, был такой случай... Ты погоди с буфетом-то, здесь буфетов много. Вот был случай, так случай. Я тогда на грузовой работал. Везу, значит, я в Саки плетеную мебель для какого-то там санатория, а под мебелью-то у меня, хи-хи-хи, кавуны. Один добрый человек попросил на рынок в Евпаторию подбросить. Смотрю, у обочины под кустом сидит на мотоцикле товарищ Красивый Фуражкин, автоинспектор, газету читает, а мимо грузовики идут, хоть бы что. Только я подъезжаю, поднимает он свою палочку-стукалочку. Стоп, дядя Митя, приехали — выборочная проверка. Что делать, а? Я вас спрашиваю, дамы и господа, куда мне деваться с левым грузом? Делаю вид, что не замечаю сигнала, а сам по газам, по газам. Оглядываюсь — что-то у инспектора мотор не заводится. А я уже за поворотом скрылся. Все равно, думаю, настигнет меня этот коршун на своем форсированном мотоцикле. Сворачиваю в Каштановку, там у меня мужик знакомый хозяйство держит, тоже помогал я ему с перевозками. Заезжаю прямо к нему во двор, кавуны мы темпераментно сгружаем и под рогожку, а плетеную мебель на место. Тут как раз и подъезжает лейтенант. «Почему,— говорит,— сигналов не слушаетесь?» — «Виноват,— отвечаю,— никаких сигналов не видел». — «А это,— говорит,— у вас что за груз?» — «А это у меня плетеная мебель в Саки, вот наряд. Приветик!» Лейтенант: «Откиньте борта!» Откидываю — чисто! «А почему,— говорит,— в Каштановке скрылись?» — «Эх,— говорю,— товарищ Красивый Фуражкин, что же, нельзя к приятелю заехать, чашку чаю

выпить!» — «Смотрите, — говорит, — смотрите, я ведь, — говорит, — все понимаю». Уехал. Я, конечно, кавуны назад в кузов. Вот ведь как бывает. Я вас не шокирую, товарищ, своим рассказом?

— Ничего, — сказал я, — что же поделаешь.

— Ага, по-всякому бывает, — заговорил инвалид, воспользовавшись паузой. — Вот меня тоже один раз профессор вызывает и говорит: «У вас, Кашкин, очень интересно протекает процесс, я, — говорит, — хочу про вас научную работу написать...»

— Так, так, — ласково сказал ему дядя Митя, как бы ободряя его для рассказа, а на самом деле желая прервать. — Это вы правильно, товарищ, заметили, что ничего не поделаешь. Материальный фактор вибрирует. Вот ты нам, друг-инвалид, про профессора рассказываешь, а со мной был такой случай. Ночью, значит, еду я в Феодосию, везу на рынок абрикос. Один из Бахчисарая попросил подбросить. Километров двадцать не доезжая, смотрю, выворачивает на шоссе, узнаю по фаре, капитан Лисецкий. Я скорости врубаю, иду, как на гонке. На счастье, колонна в Феодосию шла, я в нее и втерся. Лисецкий едет, смотрит где я, а я в колонне. Он и не заметил.

— По-всякому бывает, — подтвердил инвалид. — У нас в Керчи на заводе вызывает меня как-то главный инженер и говорит...

— Вот-вот, то-то и оно, — подтвердил дядя Митя. — Я вот тоже в Джанкой один раз приехал ночью, а там вокруг рынка ходит Щербаков. Что, думаю, делать? Смотрю, Петро едет, наш водитель. Он сейчас в Монголии работает. Петро, говорю, выручай...

Дядя Митя прервал рассказ и чуть было не икнул от неожиданности. Он увидел слева от себя в зеркальце лицо Ивана. Иван почти уже поравнялся с ЗИКом. Как всегда на шоссе, молодое лицо Ивана было каменным и каменность эту еще увеличивал ремешок фуражки, охватывающий подбородок. Руки Ивана в кожаных перчатках твердо лежали на руле мотоцикла.

Он обогнал ЗИЛ и пошел прямо впереди, показывая своей палочкой-стукалочкой на обочину — прижмитесь, мол, товарищ водитель.

Дядя Митя остановился и вылез. Иван тоже слез со своего мотоцикла. Они пошли друг другу навстречу.

Дядя Митя улыбнулся Ивану. Иван не улыбнулся ему.

— Обычный рейс, — сказал дядя Митя, — везу пассажиров в Симферополь.

— Что у вас в багажнике? — сурово спросил Иван.

— В багажнике у нас багаж, Ваня, — улыбнулся дядя Митя.

— Откройте!

Дядя Митя открыл багажник и показал молодому офицеру женские мешки.

— Это ваш багаж, товарищи? — спросил Иван у пассажиров.

— Наш, батюшка, наш, — испугались женщины.

— Следуйте дальше, — сказал Иван, козыряя дяде Мите.

— Эх, Ваня-Ваня, — пожурил его дядя Митя.

— На шоссе я для вас не Ваня, а младший лейтенант Ермаков. Сколько раз было говорено?

Иван сел на мотоцикл и, с места набирая скорость, помчался сквозь морозящий дождь вверх по дороге, скрылся в ближайшем облаке.

— Тоже товарищ Красивый Фуражкин, — сказал дядя Митя, с печалью глядя ему вслед, — ведь пацаном я его еще знал. Учеником он у нас на базе был, болты мыл. Темный был, как антрацит. Потом, значит, набирали у нас молодежь в школу ГАИ, он и пошел...

Дядя Митя замолчал.

— Бывает, — сказал инвалид, — вот у нас, я помню...

На этот раз инвалиду удалось досказать до конца какую-то свою историю. Дядя Митя его не перебивал, он лишь хмуро смотрел перед собой на высившиеся впереди туманные кручи. Ветровое стекло все запотело, потянулись по нему длинные струйки. Собачья погода была прямо под стать дяди Митиному собачьему настроению. Он включил «дворники». «Дворники» мерно задвигались, каждым своим ходом как бы открывая перед дядей Митей картины прошлого. Он вспомнил, как пришлось ему уйти из грузового транспорта, как прекратилась его увлекательная, опасная, но выгодная работенка, как перестал он быть хозяином Крыма, а стал вот на этом вшивом такси комбинировать по мелочам. И всему виной главный его обидчик Иван Ермаков, товарищ Красивый Фуражкин.

До его появления на крымских трассах дядя Митя

не знал больших бед. Были, конечно, недоразумения с капитаном Лисецким, со Щербаковым, со старшим лейтенантом Гитаридзе, с другими товарищами, но все это были легкие недоразумения, заблуждения, дым и туман. Ему удавалось притупить бдительность автоинспекции, а то и просто по-пиратски нагло уйти, скрыться, обмануть; примерно так, как он рассказывал нынче пассажирам.

Младший лейтенант Ермаков сразу стал к нему особо присматриваться. Бывало, идет вровень по осевой полосе и смотрит, смотрит. Привет, Ваня, скажешь ему, а он хмурится — я, мол, вам не Ваня. Был, мол, раньше Ваня, вы его за папиросами гоняли, бедного Ваню, вы это забудьте. Теперь, мол, я вас погоняю; младший лейтенант милиции Иван Ермаков. Такое у него примерно было выражение лица.

Потом он стал прихватывать дядю Митю и все по мелочам — то за превышение скорости, то за неправильный обгон, то за несоблюдение дистанции. Штрафовал. Рублей, конечно, дяде Мите было не жалко, у него в то время водился презренный металл, но было как-то обидно и, главное, тревожно — чувствовал он, что подбирается Ермаков к самому главному, к «левым» его делам.

— Мелочишься ты, Ваня, — как-то сказал он ему во время очередного шрафа.

— Я вам не Ваня! — рявкнул Ермаков.

— Эх, Ваня-Ваня, — продолжал дядя Митя, — ведь ты у нас на базе когда-то болты мыл.

— Да, мыл. Ну и что же?

— Эх, Ваня, добра ты не помнишь. Помнишь, как я за тебя перед директором вступился, когда ты с базы ключи унес?

Ермаков покраснел и еще больше нахмурился.

— Это пятно я давно уже смыл, — сказал он, — и поручилась за меня комсомольская организация, а не вы, и потом сколько раз говорено, я вам не сват, не брат и не Ваня.

Как-то раз дядя Митя рано закончил работу и пешком направился к своему дому. Был разгар летнего сезона, и все население Ялты, временное и постоянное, теснилось на пляжах, терлось боками друг о дружку.

Дядя Митя с удовольствием выпил пива, с удоволь-

ствием закурил папиросу и с удовольствием посмотрел на видневшуюся среди вечнозеленой растительности крышу своего дома.

По дороге он зашел в сберкассу и сделал очередной вклад. В сберкассе привлек его внимание плакат денежно-вещевой лотереи. В целях рекламы здесь были отпечатаны снимки счастливых с их выигрышами. Домохозяйка П. С. Курцева из Шепетовки выиграла стиральную машину, инженер П. П. Горохов из Донецка изображен был рядом с приемником «Эстония», бухгалтер В. Н. Панченко из Харькова любовался выигранным ковром... Особое внимание дяди Мити вызвал снимок, на котором показан был человек средних лет, который, сияя от редкого счастья, выпавшего на его долю, прислонился к новенькому «Москвичу-407». Подпись под этим снимком гласила: «Ф. Ч. Кулик, житель из г. Джанкоя». Не бухгалтер, значит, не инженер и не домохозяйка, житель и все.

«Свой парень,— подумал дядя Митя, внимательно разглядывая «жителя».— Эх, достать бы мне где-нибудь выигрышный билет, хоть за любые деньги. Был бы тогда «Москвич» у моего семейства. А так ведь купишь, сразу начнут источники дохода искать. Доброхоты, мать их так!» С этими мыслями он подошел к своему дому, вошел во двор, твердый и яркий от солнца, проверил, как работает насос в колодце (хорошо работал насос), потом обошел молчащий дом, громко покашливая, погулял по щедрому своему саду, предмету тещиных забот, потрогал яблочки (удались, родимые), и только тогда медленно и шумно стал подыматься по лестнице.

Дом у дяди Мити был просторный, крепкий, в пять комнат с кухней и санузлом. В сезон, конечно, четыре комнаты занимал разный сборный люд из северных городов, а дядя Митя с семьей, с тещей, с женой Александрой, со старшей дочкой Изабелкой, с ребятами Витькой и Игорьком, помещались в одной комнате и в пристрочках, в сарайчиках, которых несколько было на дворе.

Как дядя Митя верно предполагал, жильцы все, а также теща с детьми околачивались на пляже, и в доме оставалась лишь его жена Александра. Дядя Митя, конечно, твердо знал, что жена Александра ему не изменяет и даже в мыслях не держит этого греха, но все-

таки на всякий случай всегда вот так кашлял, топтался и шумел, прежде чем войти в дом, предупреждал, в общем, о своем приходе, чтобы не было неожиданных сюрпризов. Зачем лишние скандалы в доме?

В этот раз он застал Александру, как всегда, в прохладной комнате. Она лежала на оттоманке, подложив под голову мягкую руку, а на груди у нее покоилась замечательная ее коса. Женщина она была совсем еще нестарая, мягкая, ленивая. Дядя Митя тут полюбил ее и совсем остался довольный.

Затем приблизился вечер, жара спала, установилось по всей округе прозрачное вечернее освещение. Дядя Митя услышал, что по двору забегало множество крепких ног, и спустился вниз, оставив на оттоманке жену Александру.

Любезно он поздоровался с жильцами, дружески перемигнулся с тещей, подкинул в воздух шестилетнего Игорька, Виктора за ухо потянул и полюбовался на Изабелку, которая у калитки вертелась, играла на чувствах высоченного парня в тельняшке с красными полосами.

Изабелка получилась не в мать — вертлявая, озорная, парни за ней ходят гуртом, дерутся из-за нее, а она только смеется, дитя юга.

— Замуж тебя пора, Изабелка,— говорит ей обычно дядя Митя,— как бы греха не было.

— А я греха не боюсь!— смеется дочка.— Что это за старомодные разговоры, май фазер? Отстающее у вас поколение.

Жутким образом любил дядя Митя свою Изабелку. Вообще все свое семейство он очень сильно любил и гордился благополучием, царящим в доме. Для этого и пиратничал по крымским дорогам, для таких вот часов, для вечернего отдыха души.

Теща уже накрывала на стол прямо во дворе под платаном, тащила трескучие сковороды, крошила в салатницу помидоры, огурчики, выставила на стол бутылку с молодым вином, подброшенным на днях одним из дяди Митиных клиентов.

— Митя, Витя, Игорек, Изабелка, Александра!— кричала она.— Занимайте места согласно купленным билетам.

Дядя Митя первым сел к столу, чтобы своим примером завлечь подрастающее поколение.

— Что это за ффраерочек с Изабелкой, тещенька! Не интересовались?— спросил он.

— Неделю уже ходит, — отвечала теща, — остальных всех распугал. Говорит, что инженер.

Дом булькал, хлохтал, поскрипывал. Дядя Митя благожелательно наблюдал, как быстро пробегали по двору приезжие хозяйки, соображая нехитрые ужины, как московские и ленинградские детишки тем временем крутили на худеньких чреслах свои обручи, как копошились все его ежедневные шестнадцать рубликов.

«Каждому ведь нужен отдых, витаминозная пища, — думал дядя Митя, — каждый соображает, как лучше».

— Марш к столу! — закричал он. — Эй, поколение, марш к столу! Изабелка, приглашай своего кавалера!

Мальчишки разом прыгнули на лавку и заерзали, хватая куски и получая слегка по рукам. Изабелка, смеясь, потянула за руку своего молодца. Молодец упрашивать себя не заставил и бодро зашагал к столу. Парочка издали звучала вполне прилично — тоненькая Изабелка и широкоплечий верзила, рот полон белых зубов.

— Жених! — смеялась и приплясывала Изабелка. — Имею честь вам представить женишка!

— Тили-тили тесто, жених и невеста! — с ходу заорали пацаны.

— Одну минуточку, — сказал парень, — коньячок у меня там.

Спортивным длинным бегом он пронесся обратно к калитке. На задку у него заграничными буквами было написано «kent». Он скрылся за калиткой и моментально появился снова, пронесся к столу уже с коньяком.

«Шустрый парнюга, — подумал Митя, — потомство хорошее может быть».

— Значит, выпьем, папаша, — веселился за столом жених, — дочку вы состряпали на славу.

— А где работаешь, молодой специалист? — поинтересовался дядя Митя.

— В Москве! — воскликнул жених и подмигнул Изабелке.

Вдвоем они сразу запели:

Хорошо нам с тобой идти
По ночной Москве,

Нам бульвары на всем пути
Открывают объѣзды...

— В КБ я работаю,— пояснил жених,— в почтовом ящике.

— Папа, папа!— закричали пацаны, влюбленно глядя на жениха.— Он Эдьке Скворцову скулу свернул, а штурмана через себя перебросил!

— Папа, я замуж за него хочу, он премии получает,— лукаво хихикала Изабелка.

— Точно!— гаркнул жених.— Недавно 800 дубов премии получил по проекту «Пальма», а раньше еще полтыщи отхватил по проекту «Кипарис».

— Старыми или новыми?— полюбопытствовал дядя Митя.

— Новыми, папаша. За кого вы меня принимаете? «Дельно»,— подумал дядя Митя, а дочке строго сказал:

— За человека надо выходить, Изабелка, а не за деньги.

— Золотые слова, Митя! Учти, внученька, на будущее,— пропела теща.

— Подумаешь, будущее!— кочевряжилась Изабелка.— У него вон «Запорожец» стоит. Видали?

Дядя Митя привстал и действительно увидел на улице похожий на серого ишачка «Запорожец», уткнувшийся носом в ствол платана. Заметил он также, что жених уже хватает под столом Изабелку за колено.

Появилась жена Александра. Сонно она взглянула на шумное семейство и присела рядом с мужем, перекинув на грудь тяжелую свою косу.

— А я маникюр себе сделала,— сказала она, и рука ее нависла над столом, словно шея лебяжья.

— Тебе бы, Александра, в самодеятельность записаться,— сказала теща,— сыграла бы ты хоть Катерину из «Грозы».

— Верно говорит теща,— подхватил дядя Митя,— маешься ты, Александра, внутренних сил в тебе много.

— Мама, а у меня жених!— крикнула Изабелка.

— Да, Александра, вот видишь, интеллигенция просится в рабочую семью,— сказал дядя Митя. И в это время как раз зашел во двор товарищ Красивый Фуражкин.

Дядя Митя как увидел его, сразу остановил свою

речь, а домочадцы, проследив его взгляд, повернулись к приближающемуся милиционеру. И Изабелка, изогнув свой стан, смотрела на Ваню Ермакова оленьими глазами.

Младший лейтенант Ермаков строго шел через двор, имея перед собой цель — дяди Митину плутовскую личность, и вдруг словно получил удар в солнечное сплетение, перепутал шаги. Это он наткнулся на Изабелкин загадочный взгляд.

Он подошел к столу, кашлянул и не нашелся, что сказать, кроме как «добрый вечер». Все молчали, Изабелка с женихом хихикали, глядя на него, и дядя Митя нарочно молчал, видя его смущение.

— Вы немецкий? — нарушил молчание Игорек.

— Я? — совсем уже растерялся Ермаков, краснея, обливаясь потом, чувствуя, что происходит с ним что-то неладное.

— Вы милиционер? — ехидничал Игорек.

— Да, — Ермаков схватился за спинку стула.

— Вы не за мир — забираете всех мальчиков! — торжественно закричал Игорек.

Изабелка с женихом весело расхохотались. Ермаков резким усилием воли, словно на соревнованиях по стрельбе, привел себя в порядок.

— Я лично к вам, — сказал он дяде Мите, поправляя мундир и фуражку. — Придется вам, товарищ водитель, прослушать цикл лекций по правилам движения на крымских автомобильных дорогах. Вот повестка.

— Да вы садитесь, — сказала Изабелка и подошла близко к Ермакову, — садитесь с нами вечером. — Повестка задрожала в руке младшего лейтенанта. Дядя Митя давно уже смекнул, что к чему.

— Это, товарищи, наш автоинспектор товарищ Ермаков, — представил он неожиданного гостя. — А тебе, Игорек, я уши надеру! Ваня, дорогой, сделай честь, выпей с нами стаканчик сухого и не сочти за подхалимаж.

Изабелка дотронулась пальцами до Вани, и тот неожиданно для себя сел к столу.

— Поскольку я уже не при исполнении, — бормотал он, — поскольку я сейчас как частное лицо...

— Поскольку-постольку! По сто грамм, — засмеялась Изабелка.

Дядя Митя смотрел, как дочка подкладывает Ване гуляш и салат, и вдруг неожиданная гениальная мысль пронзила его. Незаметно он привстал и глянул через забор на «Запорожец».

«Подумаешь, мыльница пластмассовая, проку в нем,— подумал он.— Ежели у меня такой Ванек в семье будет, я Изабелке за год на «Волгу» сколочу».

И тут он сразу переиграл свои планы насчет будущего.

Инженериска из Москвы выставил на стол транзистор, выловил румынский твист и пошел выкаблучивать с Изабелкой. Танцевал он, конечно, лихо, да ведь не в танцах проявляется мужская сила. Сила эта проявляется в организации семьи, а стилиста-инженер для этого не годится со всеми своими «пальмами» и «кипарисами», к тому же, может быть, моральный разложенец, хотя, конечно, в почтовых ящиках кадровый учет поставлен строго, а может, он скрыл свое истинное лицо?

Вон у Вани Ермакова какое лицо — чистое, ровное! И взгляд на Изабелку робкий, преданный. Дядя Митя даже всхлипнул, испытав к Ермакову прилив родственного уже умиления. Тут румыны вдарили вальс, и Ваня пошел кружить с Изабелкой. Дядя Митя подмигивать стал теще на них, и теща сразу его поняла, закачала головой с восхищением — какая, мол, парочка! Инженериска помрачнел.

Спать в этот вечер легли поздно. Дядя Митя дождался, когда уснет жена Александра, подлез к окну и стал смотреть на Изабелку и ее кавалеров.

Молодежь стояла возле калитки. Инженериска все выдрючивался, видно, поражал «столичными» хохмами, а Ваня Ермаков, наш славный герой, стоял молча, заложив руки за спину, и лишь светились в темноте его чистые глаза и кокарда на красивой фуражке.

Потом, когда Изабелка упорхнула, молодые люди медленно отошли от калитки и остановились. Инженериска нежно взял Иванову руку и чуть повернул ее, как бы показывая начало приема. Иван так же нежно показал ему начало контрприема. Потом Иван поинтересовался, знает ли инженер вот такой прием, и оказалось, что тот знал. Тогда они сунули руки в карманы. Вдруг инженер засмеялся.

— Молоток! — сказал он громко, сел в свой «Запорожец» и укатил.

Иван тоже сел на мотоцикл, посидел немного в седле, глядя в небо, и вдруг подкинул в небо свою красивую фуражку. Впрочем, тут же он ее поймал, нахлобучил и, осуждая себя за несерьезность, поехал по переулку.

Дядя Митя чуть даже не задохнулся от открывшихся перед ним перспектив.

С того дня младший лейтенант Ермаков стал частым гостем в их доме. Дядя Митя изобретал многочисленные семейные праздники и все приглашал Ваню. Инженеру он старался дать от ворот поворот, а за Ваню вел в доме осторожную, но постоянную агитацию. Вот, дескать, парень — устойчивый, крепкий, чемпион по мотоспорту и стрельбе. Последнее обстоятельство сильно заинтриговало Изабелку, оно и решило успех дела.

— С такими нервами, — сказала она, — Иван может стать чемпионом мира.

Под осень отправились в загс. Изабелка в этот день не прыгала, держалась солидно. Иван в гражданском сером костюме весь одеревенел.

После бракосочетания предстояла молодоженам серьезная работа — перетаскивание на новую квартиру спортивных Ивановых призов. Семь раз они курсировали от милицейского общежития до дяди Митино дома, нагруженные кубками, скульптурами и мельхиоровыми чашами.

Ух, дядя Митя веселился на свадьбе! Читал куплеты, разыгрывал с тещей сценки, пел, плясал — в общем, был душой общества. Очень ему хотелось расположить к себе приглашенное милицейское начальство — капитана Лисецкого и старших лейтенантов Щербакова и Гитаридзе. Кажется, это ему удалось.

После свадьбы молодые, как полагается, уехали в путешествие. Навьючили на мотоцикл рюкзаки, надели защитные очки, т-р-р и укатили в Карпаты.

За время их отсутствия дядя Митя даром времени не терял, а наоборот, развивал свою плодотворную идею. Так или иначе скоро стали они кумовьями с капитаном Лисецким; прилетела по вызову из Харькова младшая сестра жены Александры Надежда и вышла замуж за старшего лейтенанта Гитаридзе; а племянник дяди Мити Федор, прибывший из Мурманска,

женился на сестре старшего лейтенанта Щербакова.

Все эти операции были завершены к приезду молодых, и на пирушке, устроенной в честь их возвращения, Иван увидел за родственным столом своих товарищей по работе.

На другой день дядя Митя сказал зятю:

— Ванюша, дорогой, золотая моя гордость, узнай, пожалуйста, кто во вторник по дороге на Джанкой будет дежурить и на каком километре.

Дело было утром во дворе под ранними лучами теплого еще солнца. Иван прервал общефизическую подготовку и повернулся к тестю холодным официальным лицом.

— Вот что, папа, я вам должен сказать. Прошу любовь мою к Изабелле и наши родственные узы не использовать в корыстных целях. Прошу оставить эту идею раз и навсегда. На шоссе мы с вами не родственники.

— У тебя что, Иван, шарики за ролики закатились? — грубо сказал дядя Митя и пошел со двора. Тревожное зловещее чувство охватило его.

Во вторник по дороге на Джанкой он услышал сзади комариный зуд нагоняющего мотоцикла. Это был Иван. Деловито он прижал дядю Митю к бровке, обнаружил левый груз, составил акт. Кончилось это для дяди Мити выговором в приказе.

В другой раз остановил его Гитаридзе.

— Превышение скорости, товарищ водитель, — козырнул он. — Заодно и путевочку предъявите.

— Свояк! — взмолился дядя Митя. — Душа любезный.

— Дорогой дядя Митя! — сказал Гитаридзе, проверяя путевку. — За грузинским столом гость святой человек, а ты у меня в гостях будешь, как бог! Но на шоссе, не обижайся, Гитаридзе будет выполнять свой долг.

Щербаков прихватил дядю Митю на севастопольской трассе.

— Как сестричка-то поживает за моим племянником? — поинтересовался дядя Митя.

— Семейные разговоры в другое время, — отрезал Щербаков. — А сейчас придется вам, товарищ водитель, сделать прокол.

Про кума Лисецкого нечего и вспоминать. Этот человек являл собой символ закона. Вросшая в мотоцикл

его костлявая фигура, просвистанная, продубленная, промытая всеми ветрами, градами, суховеями, дождями и раньше-то выводила дядю Митю из состояния равновесия, а после хитроумного кумовства стала просто-таки приводить в трепет. Кум Лисецкий, вот тебе и кум, напросился петух лису в кумовья.

Другие водители сильно забавлялись всеми этими обстоятельствами. Дяди Митина злосчастная личность стала главным комическим предметом разговоров по утрам в диспетчерской. Авторитет его резко падал. Не было дня, чтобы дядя Митя возвратился на базу без копии акта или без квитанции штрафа. Чуть ли не ежедневно ГАИ сигнализировала директору о его художествах. И во всем этом виноваты были новоиспеченные его родственники, в особенности же родной зять. В общем, плодотворная идея вывернулась наизнанку — постоянные его тираны, став родственниками, старались по сильнее проявить принципиальность и тиранили вдвое.

«Змею пригрел на груди», — думал дядя Митя по утрам, глядя, как Иван и Изабелка выбегают во двор для общефизической подготовки.

Изабелку после замужества прямо стало не узнать — стала она сдержанной, не болтливой, по утрам в постели не валялась, ходила в мотосекцию, а вечерами вдвоем с благоверным готовились они к поступлению в высшее учебное заведение.

— Положительное влияние, — шептала теща дяде Мите, но тот отмалчивался, крихтел, замыкался в себе, в оскорбленной своей душе.

Один раз он, правда, не выдержал.

— Ты бы хоть в ресторанчик жену сводил, Иван, — сказал он зятю. — Засушил ведь девку. Ничего в тебе человеческого нет, одна красивая фуражка.

Иван промолчал и отвернулся, а Изабелка вдруг вспыхнула и пристукнула кулачком по столу.

— Вы, папа, отсталый элемент! Ничего не понимаете! Молодежь не собирается растрачивать свои лучшие годы на пустяки!

На следующий день дядя Митя уже не удивился, услышав сзади комариный зуд нагоняющего мотоцикла.

Вот из-за этих всех причин и пришлось дяде Мите перейти с грузового транспорта на такси...

Вечерний зимний ветер заканчивал уже свою без-

дарную мазню — размытое серыми тучами небо темнело, густело. Потом печальную эту картину подправила желтая россыпь симферопольских огней.

Инвалид все что-то рассказывал, хохоча, задние пассажиры помалкивали.

— Слушай, мастер художественного слова, — обратился дядя Митя к инвалиду, — тебе куда, на вокзал, что ли?

— На вокзал, — сказал инвалид. — Держи, браток, я тебе пару рубликов подброшу. Больше нет, извини. Вчера профессор Рабинович дал мне как интересному больному на дорогу десятку, а я ее спустил, грешным делом. Вот ведь профессор, а? Как тебе нравится? А говорят, жадные они до денег. Выходит, что нет.

— Ладно, давай свои рублевки, а больше без денег на такси не садись, — устало сказал дядя Митя.

Женщины с узлами тоже вышли на вокзале. Заплатили они сполна, не поскупились. Остался только один пассажир, которому надо было в аэропорт.

— Садитесь на переднее сиденье, товарищ, — предложил мне дядя Митя. — Сейчас концерт продолжим, музыку найдем. Надоело небось художественное слово?

Я пересел к нему на переднее сиденье. Он включил приемник, пробилась сквозь разноязыкую болтовню какая-то громающая музыка, и мы поехали к аэропорту.

— Сами вы киноработник? — спросил меня он.

— Как вы догадались?

— Сам не знаю, — сказал дядя Митя, — всегда узнаю киноработников.

— А я вот тоже в искусство вложил свою скромную лепту, — сказал он спустя некоторое время. — Всю войну во фронтовом театре играл. Из самодеятельности меня выявили.

— Всю войну? — дивился я.

— Ага. Матроса Швандю всю войну играл. Любимец был 3-го Белорусского фронта.

— Один раз бомбу на нас сбросил наглый фашист, — сказал он еще через минуту. — Прямо во время спектакля жаханул, да промазал.

«Вот это хват, — думал я, глядя украдкой на его лицо утомленного плута, на густые, словно подклеенные брови. — Вот это хват, сам черт ему не брат. Надо же, всю войну матроса Швандю играл».

В аэропорту мы расстались. Он донес мой чемодан до кассы. Я щедро заплатил ему, оставив себе, кроме билетных денег, еще два рубля на коньяк.

Дядя Митя вышел из здания аэропорта в минорном настроении. Очередь таксистов и здесь была велика. Почему-то не стал он хитрить, а сел за руль, чертыхнулся, закусил губу и разогнал свою машину по шоссе. Сильно превышая скорость и не обращая внимания на свистки регулировщиков, он промчался через город.

«Довели, загнали, обложили, — зло думал он. — Нет, я вам не заяц, не медведь, я — дядя Митя, король трассы!»

Свистя, прощелкивали мимо встречные машины. Голова кружилась. Он несся по шоссе через темную равнину, забирая все выше к горам, к старому выветрившемуся Крымскому хребту.

За перевалом он остановился и вылез из машины. Тумана не было. Звезды колебались над головой. Безумные ветры хлестали дядю Митю со всех сторон, пронизывали одежду, щекотали ноздри, ерошили суровые брови, выдували из головы осторожность, расчет, усталость. Древняя воровская ночь окружала его. В дяде Мите проснулся хищник. Он видел под собой Крым, весь Крым и в разных частях вечерний свет в окнах клиентов, он видел Крым, как туристскую схему и видел весь бассейн Понта Эвксийского, и дальше — взгляду его не было границ.

Сейчас надо мандарины везти в Сухум, а гвозди в Стамбул, а носки в Тбилиси, доски, бочки, стручки перца, трикотаж, галантерею, лавровый лист, пуговицы, запонки, томаты, рыбу, кавуны, цветы, веревки, кальсоны, радиолампы, тюль, листовое железо, вилки, ложки, домашних животных, пряники, коржики, семгу, икру, вино, лекарства, кресты, надгробья, книги, табак, олово, железо, марганец, химикалии в Джанкой, в Балаклаву, в Рим, в Париж, в Москву, в Свердловск...

Дядя Митя рванул дверцу, упал на сиденье, нажал стартер.

С четырех сторон, по шоссе и с гор катились к нему четыре солнца или луны, четыре безмолвных светила. Это приближались, слепя фарами мотоциклов, новые его родственнички, рыцари своего долга.

— Может, вам кофе принести?

— Можно.

— По-восточному?

— А?

— Кофе по-восточному, — торжествующе пропела официантка и поплыла по проходу.

«Ерунда, баба как баба», — успокаивал себя Кирпиченко, глядя ей вслед.

«Ерунда, — думал он, морщась от головной боли, — осталось 50 минут. Сейчас объявят посадку и знать тебя не знали в этом городе. Город тоже мне. Город-городок. Не Москва. Может, кому он и нравится, мне лично не то, чтобы очень. Ну его на фиг! Может, в другой раз он мне понравится».

Вчера было сильно выпито. Не то, чтобы уж прямо «в лоскуты», но крепко. Вчера, позавчера и третьего дня. Все — из-за этого гада Банина и его дражайшей сеструхи. Ну и раскололи они тебя на твои трудовые рубли!

Банина Кирпиченко встретил третьего дня на аэродроме в Южном. Он даже не знал, что у них отпуска совпадают. Вообще ему мало было дела до Банина. В леспромхозе все время носились с ним, все время кричали: «Банин-Банин! Равняйтесь на Банина!» — но Валерий Кирпиченко не обращал на него особого внимания. Понятно, фамилию эту знал и личность была знакома — электрик Банин, но в общем и целом человек это был незаметный, несмотря на весь шум, который вокруг него поднимали по праздникам.

«Вот так Банин! Ну и ну, вот тебе и Банин».

В леспромхозе были ребята, которые работали не хуже Банина, а может быть, и давали ему фору по всем статьям, но ведь у начальства всегда так — как нацелятся на одного человека, так и пляшут вокруг него, таким ребятам завидовать нечего, жалеть надо их. В Баклах был такой Синицын, тоже на мотовозе работал, как и Кирпиченко. Облюбовали его корреспонденты, шум подняли страшный. Парень сначала вырезки из газет собирал, а потом не выдержал и в Оху смо-

тался. Но Банин ничего, выдерживал. Чистенький такой ходил, шустрый. В порядке такой мужичок, не видно его и не слышно. В прошлом году весной привезли на рыбокомбинат двести невест с материка — сезонниц по рыбообработке.

Собрались ребята к ним в гости, орут, шумят... Смотрят, в кузове в углу Банин сидит, тихий такой, не видно его и не слышно.

«Ну, Банин...»

На аэродроме в Южном Банин бросился к Кирпиченко, как к лучшему другу. Прямо захлебываясь от радости, он вопил, что страшно рад, что в Хабаровске у него сеструха, а у нее подружки — мировые девочки. Он стал расписывать все это дело подробно, и у Кирпиченко потемнело в глазах. После отъезда невест из рыбокомбината за всю зиму Валерий видел только двух женщин, точнее двух пожилых крокодилов — табельщицу и повариху.

«Ах ты, Банин-Банин...»

В самолете он все кричал летчикам: «Эй, пилоты, подбросьте уголька!» Прямо узнать его было нельзя, такой сатирик...

«Мало я тебе подкинул, Банин!»

Дом, в котором жила банинская сеструха, чуть высовывался из-за сугроба. Горбатую эту улицу, видно, чистили специальные машины, а отвалы снега не были вывезены и почти скрывали от глаз маленькие домики. Домики лежали словно в траншее. В скрипучем морозном воздухе стояли над трубами голубые дымки, ко-со торчали антенны и шесты со скворечниками. Это была совершенно деревенская улица. Трудно было даже поверить, что на холме по проспекту ходит троллейбус.

Кирпиченко немного ошалел еще в аэропорту, когда увидел длинный ряд машин с зелеными огоньками и стеклянную стену ресторана, сквозь морозные узоры которой просвечивал чинный джаз. В «Гастрономе» на главной улице он совсем распоясался. Он вытаскивал зеленые полусотенные бумажки, хохоча, запихивал в карманы бутылки, сгребал в охапку банки консервов. Развеселый человек Банин смеялся еще пуще Кирпиченко и только подхватывал сыры и консервы, а потом вступил в переговоры с заводелом и добыл вязанку колбасы. Банин и Кирпиченко подкатили к домику на так-

си, заваленном разной снедью и бутылками чечено-ингушского коньяка. В общем, к сеструхе они прибыли не с пустыми руками.

Кирпиченко вошел в комнату мохнатой шапкой под потолок, опустил продукты на кровать, покрытую белым пикейным одеялом, выпрямился и сразу увидел в зеркале свое красное худое и недоброе лицо.

Лариска, банинская сеструха, по виду такая пухленькая медсестричка, уже расстегивала ему пальто, приговаривая: «Друзья моего брата — это мои друзья». Потом она надела пальто, боты и куда-то уchapала.

Банин работал штопором и ножом, а Кирпиченко пока оглядывался. Обстановка в комнате была культурная: шифоньер с зеркалом, комод, приемник с радиолой. Над комодом висел портрет Ворошилова, еще довоенный, без погон, с маршалскими звездами в петлицах, а рядом грамота в рамке: «Отличному стрелку ВОХР за успехи в боевой и политической подготовке. УСВИТЛ».

— Это батина грамота,— пояснил Банин.

— А что, он у тебя вохровцем был?

— Был да сплыл,— вздохнул Банин.— Помер.

Однако грустил он недолго,— стал крутить пластинки. Пластинки были знакомые — «Рио-рита», «Черноморская чайка», а одна какая-то французская — три мужика пели на разные голоса и так здорово, как будто пропели они весь белый свет и видели такое, что ты и не увидишь никогда.

Пришла Лариска с подругой, которую звали Томой. Лариска стала наводить на столе порядок, бегала на кухню и назад, таскала какие-то огурчики и грибы, а Тома, как села в угол, так и окаменела, положила руки на колени. Как с ней получится, Кирпиченко не знал и старался не глядеть на нее, а как только взглядывал, у него темнело в глазах.

— Руки мерзнут, ноги забнут, не пора ли нам дерябнуть? — с нервной веселостью воскликнул Банин.— Прощу к столу, леди и джентльмены.

«Мало я тебе пачек накидал, Банин».

Кирпиченко курил длинные папиросы «Сорок лет Советской Украины», курил и пускал колечки. Лариска хохотала и нанизывала их на мизинец. В низкой комнате было душно. Кирпиченкины ноги отсырели в ва-

ленках, наверное, от них шел пар. Банин танцевал с Томой. Та за весь вечер не сказала ни слова. Банин что-то ей шептал, а она криво усмехалась сомкнутым ртом. Девица была статная, под капроновой кофточкой у нее просвечивало розовое белье. В темных оранжевых кругах перед Кирпиченко расплывались стены, портрет Ворошилова и слоники на комод, и прыгали выпущенные им дымные колечки, и палец Ларисы выписывал какие-то непонятные знаки.

Банин и Тома ушли в другую комнату. Тихо щелкнул за ними английский замок.

— Ха-ха-ха,— хохотала Лариска,— что же вы не танцевали, Валерий? Надо было танцевать.

Кончилась пластинка, и наступила тишина. Лариска смотрела на него, щуря косые коричневые глаза. Из соседней комнаты доносился сдержанный визг.

— От вас, Валерий, одно продовольствие и никакого удовольствия,— хихикнула Лариска, и Кирпиченко вдруг увидел, что ей под тридцать, что она видала виды.

Она подошла к нему и прошептала:

— Пойдем танцевать.

— Да я в валенках,— сказал он.

— Ничего, пойдём.

Он встал. Она поставила пластинку, и три французских парня запели на разные голоса в комнате, пропахшей томатами и чечено-ингушским коньяком, о том, что они прошли весь белый свет и видели такое, что тебе и не увидеть никогда.

— Только не эту,— хрипло сказал Кирпиченко.

— А чего?— закричала Лариска.— Пластиночка что надо! Стиль!

Она закрутилась по комнате. Юбочка ее плескалась вокруг ног. Кирпиченко снял пластинку и поставил «Рио-риту». Потом он шагнул к Лариске и схватил ее за плечи.

Вот так всегда, когда пальцы скользят по твоей шее в темноте, кажется, что это пальцы луны, какая бы дешевка ни лежала рядом, все равно после этого, когда пальцы трогают твою шею,— надо бы дать ей по рукам,— кажется, что это пальцы луны, а сама она высоко и сквозь замерзшее стекло похожа на расплывшийся желток, но этого не бывает никогда и не обманывай себя, будет ли это, тебе уже 29, и вся твоя неладная и лад-

ная, вся твоя распрекрасная, жаркая, холодная жизнь, какая она ни на есть, когда пальчики на шее в темноте, кажется, что это...

— Ты с какого года?— спросила женщина.

— С тридцать второго.

— Ты шофер, что ли?

— Ага.

— Много зарабатываешь?

Валерий зажег спичку и увидел ее круглое лицо с косыми коричневыми глазами.

— А тебе-то что?— буркнул он и прикурил.

Утром Банин шлепал по комнате в теплом китайском белье. Он выжимал в стакан огурцы и бросал в блюдо сморщенные огуречные тельца. Тома сидела в углу, аккуратная и молчаливая, как и вчера. После завтрака они с Лариской ушли на работу.

— Законно повеселились, а, Валерий?— заискивающе засмеялся Банин.— Ну ладно, пошли в кино.

Они посмотрели подряд три картины, а потом завернули в «Гастроном», где Кирпиченко опять распоясался вовсю, вытаскивал красные бумажки и сваливал в руки Банина сыры и консервы.

Так было три дня и три ночи, а сегодня утром, когда девицы ушли, Банин вдруг сказал:

— Породнились мы, значит, с тобой, Валерий?

Кирпиченко поперхнулся огуречным рассолом.

— Чего-о?

— Чего-чего!— вдруг заорал Банин.— С сеструхой моей спишь или нет? Давай говори, когда свадьбу играть будем, а то начальству сообщу. Аморалка, понял?

Кирпиченко через весь стол ударил его по скуле. Банин отлетел в угол, тут же вскочил и схватился за стул.

— Ты, сучий потрох!— с рычанием наступал на него Кирпиченко.— Да если на каждой дешевке жениться...

— Шкура лагерная!— завизжал Банин.— Зека!— и бросил в него стул.

И тут Кирпиченко ему показал. Когда Банин, схватив тулуп, выскочил на улицу, Кирпиченко, стуча зубами от злобы, возбуждения и дикой тоски, вытащил чемодан, побросал в него свои шмотки, надел пальто и сверху тулуп, вытащил из кармана свою фотокарточку

(при галстукe и в самой лучшей ковбойке), быстро написал на ней: «Ларисе на добрую и долгую память. Без слов, но от души», положил ее в Ларискиной комнате на подушку и вышел вон. Во дворе Банин, плюясь и матерясь, отвязывал озверевшего пса. Кирпиченко отшвырнул пса ногой и вышел за калитку.

— Ну как вам кофе? — спросила официантка.

— Ничего, влияет, — вздохнул Кирпиченко и погладил ее по руке.

— Но-но, — улыбнулась официантка.

В это время объявили посадку.

С легкой душой сильными большими шагами шел Кирпиченко на посадку. Дальше поехали, дальше, дальше, дальше! Не для того в кои-то веки берешь отпуск, чтобы торчать в душной халупе на грибах да на голландском сыре. Есть ребята, которые весь отпуск торчат в таких вот домиках, но он не дурак. Он придет в Москву, купит в ГУМе три костюма и чехословацкие ботинки, потом дальше-дальше, к Черному морю, — «Чайка, черноморская чайка, моя мечта» — будет есть чебуреки и гулять в одном пиджаке.

Он видел себя в этот момент как бы со стороны — большой и сильный в пальто и тулупе, в ондатровой шапке, в валенках, ишь ты выпагивает. Одна баба, с которой у него позапрошлым летом было дело, говорила, что у него лицо индейского вождя. Баба эта была начальником геологической партии, надо же. Хорошая такая Нина Петровна, вроде бы доцент. Письма писала и он ей отвечал: «Здравствуйте, уважаемая Нина Петровна! Пишет вам вамп известный Валерий Кирпиченко...» — и прочие печки-лавочки.

Большая толпа пассажиров уже собралась у турникетов. Неподалеку попрыгивала в своих ботинках Лариска. Лицо у нее было белое и с синевой, ярко-красные губы, и ужасно глупо выглядела брошка с бегущим оленем на воротнике.

— Зачем пришла? — спросил Кирпиченко.

— П-проводить, — еле выговорила Лариска.

— Ты, знаешь, кончай, — ладонью обрубил он. — Раскальвали меня три дня со своим братцем, ладно, а любовь тут нечего крутить...

Лариска заплакала, и Валерий испугался.

— Ну, чё ты, чё ты...

— Да, раскальвали, — лепетала Лариска, — так уж и раскальвали... Ну, ладно... знаю, что ты обо мне думаешь... я такая и есть... что мне тебя нельзя любить, что ли?

— Кончай.

— А я вот буду, буду! — почти закричала Лариска. — Ты, Валя, — она приблизилась к нему, — ты ни на кого не похож...

— Такой же я, как все, только может... — и, медленно растягивая в улыбке губы, Кирпиченко произнес чудовищную гадость.

Лариска отвернулась и заплакала еще пуще. Вся ее жалкая фигурка сотрясалась.

— Ну, чё ты, чё ты... — растерялся Кирпиченко и погладил ее по плечу.

В это время толпа потянулась на летное поле. И Кирпиченко пошел, не оглядываясь, думая о том, что ему жалко Лариску, что она ему стала не чужой, но, впрочем, каждая становится не чужой, такой уж у него дурацкий характер, а потом забывается и все нормально, нормально. Нормально и точка.

Он шагал в толпе пассажиров, глядя на ожидавший его огромный сверкающий на солнце самолет, и быстро-быстро все забывал, всю гадость своего трехдневного пребывания здесь и лунные пальчики на своей шее. Его на это не купишь. Так было всегда. Его не купишь и не сломаешь. Попадались и не дешевки. Были у него и прекрасные женщины. Доцент, к примеру, — душа-человек. Все они влюблялись в него, и Валерий понимал, что происходит это не из-за его жестокости, а совсем из-за другого, может быть, из-за его молчания, может быть, из-за того, что каждой хочется стать для него находкой, потому что они, видимо, чувствуют в эти минуты, что он, как слепой, ходит, вытянув руки. Но он всегда так себе говорил — не купите на эти штучки, не сломаете, было дело и какюк. И все нормально. Нормально.

Самолет был устрашающе огромен. Он был огромен и тяжел, как крейсер. Кирпиченко еще не летал на таких самолетах, и сейчас у него просто захватило дух от восхищения. Что он любил — это технику. Он поднялся по высоченному трапу. Девушка-бортпроводница в синем костюмчике и пилотке посмотрела его билет и сказала, где его место. Место было в первом салоне,

но на нем уже сидел какой-то тип, какой-то очкарик в шапке пирожком.

— А ну-ка вались отсюда,— сказал Кирпиченко и показал очкарику билет.

— Не можете ли вы сесть на мое место?— спросил очкарик.— Меня укачивает в хвосте.

— Вались, говорю, отсюда,— гаркнул на него Кирпиченко.

— Могли бы быть повежливей,— обиделся очкарик. Почему-то он не вставал.

Кирпиченко сорвал с него шапку и бросил ее в глубь самолета, по направлению к его месту, законному. Показал, в общем, ему направление — туда и вались, занимай согласно купленным билетам.

— Гражданин, почему вы хулиганите?— сказала бортпроводница.

— Спокойно,— сказал Кирпиченко.

Очкарик в крайнем изумлении пошел разыскивать шапку, а Кирпиченко занял свое законное место.

Он снял тулуп и положил его в ногах, утвердился, так сказать, на своей плацкарте.

Пассажиры входили в самолет один за другим, казалось, им не будет конца. В самолете играла легкая музыка. В люк валил солнечный морозный пар. Бортпроводницы хлопотливо пробегали по проходу, все, как одна, в синих костюмчиках, длинноногие, в туфельках на острых каблучках. Кирпиченко читал газету. Про разоружение и про Берлин, про подготовку к чемпионату в Чили и про снегозадержание.

К окну села какая-то бабка, перепоясанная шалью, а рядом с Кирпиченко занял место румяный морячок. Он все шутил:

— Бабка, завещание написала?

И кричал бортпроводнице:

— Девушка, кому сдавать завещание?

Везет Кирпиченко на таких сатириков.

Наконец, захлопнули люк, и зажглась красная надпись: «Не курить, пристегнуть ремни» и что-то по-английски, может, то же самое, а может, и другое. Может, наоборот: «Пожалуйста, курите. Ремни можно не пристегивать». Кирпиченко не знал английского.

Женский голос сказал по радио:

— Прошу внимания! Командир корабля приветст-

вует пассажиров на борту советского лайнера ТУ-114. Наш самолет-гигант выполняет рейс Хабаровск — Москва. Полет будет проходить на высоте 9 тысяч метров со скоростью 700 км в час. Время в пути — 8 часов 30 минут. Благодарю за внимание.

И по-английски:

— Курли, шурли, лопс-дропс... Сенкью.

— Вот как,— удовлетворенно сказал Кирпиченко и подмигнул морячку.— Чин чинарем.

— А ты думал,— сказал морячок так, как будто самолет — это его собственность, как будто это он сам все устроил — объявления на двух языках и прочий комфорт.

Самолет повезли на взлетную дорожку. Бабка сидела очень сосредоточенная. За иллюминатором проплывали аэродромные постройки.

— Разрешите взять ваше пальто? — спросила бортпроводница. Это была та самая, которая прикрикнула на Кирпиченко. Он посмотрел на нее и обомлел. Она улыбалась. Над ним склонилось ее улыбающееся лицо и волосы, темные, нет, не черные, темные и, должно быть, мягкие, плотной и точной прической, похожие на мех, на мутон, на нейлон, на все сокровища мира. Пальцы ее прикоснулись к овчине его тулупа, таких не бывает пальцев. Нет, все это бывает в журнальчиках, а значит, и не только в них, но не бывает так, чтоб было и все это, и такая улыбка, и голос самой первой женщины на земле, такого не бывает.

— Понял, тулуп мой понесла,— глупо улыбаясь, сказал Кирпиченко морячку, а тот подмигнул ему и сказал горделиво:

— В порядке кадр? То-то.

Она вернулась и забрала бабкин полушубок, моряковский кожан и Кирпиченкино пальто. Все сразу охачкой прижала к своему божьему телу и сказала:

— Пристегните ремни, товарищи.

Заревели моторы. Бабка обмирала и втихомолку крестилась. Морячок усиленно ей подражал и косил глаза — смеется ли Кирпиченко. А тот выворачивал шею, глядя, как девушка носит куда-то пальто и шинели. А потом она появилась с подносом и угостила всех конфетами, а может, и не конфетами, а золотом, самородками, пилюлями для сердца. А потом уже в воз-

духе она обнесла всех водой, сладкой водой и минеральной, той самой водой, которая стекает с самых высоких и чистых водопадов. А потом она исчезла.

— В префёр играешь?— спросил морячок.— Можно собрать пулечку.

Красная надпись погасла, и Кирпиченко понял, что можно курить. Он встал и пошел в нос, в закуток за шторкой, откуда уже валили клубы дыма.

— Сообщаем сведения о полете,— сказали по радио.— Высота 9 тысяч метров, скорость 750 км в час. Температура воздуха за бортом минус 58 градусов. Благодарю за внимание.

Внизу, очень далеко, проплывала каменная безжизненная остроугольная страна, таящая в каждой своей складке конец. Кирпиченко даже вздрогнул, представив себе, как в этом ледяном пространстве над жестокой и пустынной землей плывет металлическая сигара, полная человеческого тепла, вежливости, папиросного дыма, глухого говора и смеха, шуточек таких, что оторви да брось, минеральной воды, капель водопада из плодородных краев, и он сидит здесь и курит, а где-то в хвосте, а может быть, и в середине разгуливает женщина, каких на самом деле не бывает, до каких тебе далеко, как до Луны.

Он стал думать о своей жизни и вспоминать. Он никогда раньше не вспоминал. Разве, если к слову придется, расскажет какую-нибудь байку. А сейчас вдруг подумал: «В четвертый раз через всю страну качу и впервые за свой счет. Потеха!»

Так все были казенные перевозки. В 39-м, когда Валерий был еще очень маленьким папанчиком, весь их колхоз вдруг изъявил желание переселиться из Ставрополя в дальневосточное Приморье. Ехали долго. Он немного помнит эту дорогу — кислое молоко и кислые щи, мать стирала в углу теплушки и вывешивала белье наружу, оно трепалось за окошком, как флаги, а потом начинало греметь, одубев от мороза, а он пел: «Летят самолеты, сидят в них пилоты и сверху на землю глядят...» Мать умерла в войну, а отец в 45-м на Курилах пал смертью храбрых. В детдоме Валерий кончил семилетку, потом ФЗО, работал в шахте, «давал стране угля, мелкого, но много». В 50-м году пошел на действительную, опять его повезли через всю страну, на этот раз

в Прибалтику. В армии он освоил шоферскую специальность и после демобилизации подался с дружкой в Новороссийск. Через год его забрали. Какая-то сволочь сперла запчасти из гаража, но там долто не разбирались, посадили его как лицо «материально ответственное». Дали три года и повезли на Сахалин. В лагере он был полтора года, освободили по зачетам, а потом и судимость сняли. С этого времени он работал в леспромхозе. Работа ему нравилась, денег платили много. Что он делал — тянул прицепы на перевал, а потом вниз на всех тормозах, пил спирт, смотрел кино, летом ездил на танцы в рыбокомбинат. Жил он в общежитии. Всегда он жил в общежитиях, казармах, бараках. Койки, койки, простые и двухэтажные, нары, рундуки... У него не было друзей, а «корешков» полно. Его побаивались, с ним шутки были плохи. Он недолго думал перед тем, как засветить тебе фонарь. А на работе он был передовиком. Он любил технику. Он вспоминал машины, на которых ему приходилось работать, как вспоминают друзья. «Иван-виллис» в армии, а потом тягач, потом полуторный «газик», «Татра» и его теперешний дизель... В городах, в Южно-Сахалинске, в Поронайске, в Корсакове, он иногда останавливался на углу и смотрел на окна новых домов, на стильные торшеры и гардины, и это наполняло его тревогой. Он не считал своих лет и только недавно понял, что через несколько месяцев ему минет 30. Тихо! В Москве он купит три костюма, зеленую шляпу и поедет на юг, как какой-нибудь ИТР. В кальсонах у него защиты аккредитивы, денег — вагон. То-то будет весело на юге. Все нормально. Нормально и точка!

Он встал и пошел ее искать. Куда она подевалась? В самом деле, у пассажиров горло пересохло, а она стоит и треплется по-английски с каким-то капиталистом.

Она болтала, щурила свои глаза, улыбалась своим ртом, ей, видно, было приятно болтать по-английски. Капиталист стоял рядом с ней, высоченный и худой, с седым ежиком на голове, а сам молодой. Пиджак у него был расстегнут, от пояса в карман шла тонкая золотая цепочка. Он говорил раскатисто, слова гремели у него во рту, словно стучаясь о зубы. Знаем мы эти разговорчики.

— Поедем, дорогая, в Сан-Франциско и будем там пить виски.

Она: Вы много себе позволяете.

Он: В бананово-лимопном Сингапуре... Понятно?

Она: Неужели в самом деле? Когда под ветром клонится банан?

Он: Забрались мы на сто второй этаж, там буги-вуги лабают джаз.

Кирпиченко подошел и оттер капиталиста плечом. Тот удивился и сказал: «Ай эм сори», что, конечно, означало: «Смотри, нарвешься, паренек».

— Спокойно,— сказал Кирпиченко.— Мир—дружба.

Он знал политику.

Капиталист что-то сказал ей через голову, должно быть:

— Выбирай, я или он, Сан-Франциско или Баюклы.

А она ему с улыбочкой:

— Этого товарища я знаю и оставьте меня, я советский человек.

— В чем дело, товарищ?— спросила она у Кирпиченко.

— Это,— сказал он,— горло пересохло. Можно чем-нибудь промочить?

— Пойдемте,— сказала она и пошла впереди, как какая-то козочка, как в кино, как во сне, ах, как он соскучился по ней, пока курил там в носу.

Она шла впереди, как не знаю кто, и привела его в какой-то вроде бы буфет, а может быть, к себе домой, где никого не было, и где высотное солнце с мирной яростью светило сквозь иллюминатор, а может быть, через окно в новом доме на 9-м этаже. Она взяла бутылку и налила в стеклянную чашечку пузырящуюся воду. Она подняла эту чашечку, а та вся загорелась под высотным солнцем. А он смотрел на девушку, и ему хотелось иметь от нее детей, но он даже не представлял себе, что с ней можно делать то, что делают, когда хотят иметь детей, и это было впервые, и его вдруг обожгло неожиданное первое чувство счастья.

— Как вас звать?— спросил он с тем чувством, которое бывало у него каждый раз после перевала— и страшно и все позади.

— Татьяна Викторовна,— ответила она.— Таня.

— А меня, значит, Кирпиченко Валерий,— сказал он и протянул руку.

Она подала ему свои пальцы и улыбнулась.

— Вы не очень-то сдержанный товарищ.

— Малость есть,— сокрушенно сказал он.

Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Ее разбирал смех. Она боролась с собой, и он тоже боролся, но вдруг не выдержал и улыбнулся так, как, наверное, никогда в жизни не улыбался.

В это время ее позвали, и она побежала. Она оглянулась и подумала:

«Ну и физиономия!»

«Как странно,— думала она, спускаясь вниз, в первый этаж самолета,— он похож на громилу, а я его не боюсь. Я не испугалась бы, даже встретив его в лесу один на один».

Кирпиченко пошел по проходу назад и увидел очкарика, который пытался захватить его законное место. Очкарик лежал в кресле, закрыв глаза. У него было красивое лицо, чистый мрамор.

— Слышь, друг,— толкнул его в плечо Кирпиченко,— хочешь, занимай мою плацкарту.— Тот открыл глаза и слабо улыбнулся:

— Благодарю вас, мне хорошо...

Он не первый раз летал на таких самолетах и знал, что в них не качает даже в хвосте. Он занял место в первом салоне не из-за качки, а для того, чтобы смотреть, как открывается дверь в рубку, и видеть там летчиков, как они почесываются, покуривают, посмеиваются, читают газеты и изредка взглядывают на приборы. Это его успокаивало. Он не был трусом, просто у него было сильно развитое воображение. Кто-то рассказал ему о струйных потоках воздуха, в которых даже такие большие самолеты начинают кувыркаться, а то и разваливаются на куски. Он очень живо представлял себе, как это будет, хотя прекрасно знал, что этого не будет— вон стюардессы, такие юные, постоянно летают, это их работа, а командир корабля — толстый и с трубкой, и этот грубый человек, который его оскорбил, колобродит все по самолету.

Таня начала разносить обед. Она и Валерию подала поднос и искоса взглянула на него.

— А где вы проживаете, Таня? — спросил он.

«Таня, Та-ня, Т-а-н-я».

— В Москве, — ответила она и ушла.

Кирпиченко ел, и все ему казалось, что у него и бифштекс потолще, чем у других, и яблоко покрупнее, и хлеба она ему дала больше. Потом она принесла чай.

— 'Значит, москвичка? — опять спросил он.

— Ага, — шустренько так ответила она и ушла.

— Зря стараешься, земляк, — ухмыльнулся морячок. — Ее небось в Москве стильный малый дожидается.

— Спокойно, — сказал Кирпиченко с ровным и широким ощущением своего благополучия и счастья.

Но, ей-богу же, не вечно длятся такие полеты, и сверху, с таких высот, самолет имеет свойство снижаться. И кончаются смены, кончаются служебные обязанности и вам возвращают пальто, и тоненькие пальчики несут ваш тулуп, и глаза блуждают уже где-то не здесь, и все медленно пропадает, как пропадает завод в игрушках, и все становится плоским, как журнальная страница. «Аэрофлот — ваш агент во время воздушных путешествий» — это диво — все эти маникюры, и туфельки, и прически.

Нет, нет, нет, ничего не пропадает, ничто не становится плоским, хотя мы уже и катим по земле, а разным там типчикам можно и рыло начистить, вот так-так, какая началась суета, и синяя пилотка где-то далеко...

— Не задерживайте, гражданин...

— Пошли, земляк...

— Ребята, вот она и Москва...

— Москва, она и бьет с носка...

— Ну, проходите же, в самом деле...

Все еще не понимая, что же это происходит с ним, Кирпиченко вместе с морячком вышел из самолета, спустился по трапу и влез в автобус. Автобус покатился к зданию аэропорта и быстро исчез из глаз «советский лайнер ТУ-114, самолет-гигант», летающая крепость его непонятных надежд.

Такси летело по широченному шоссе. Здесь было трехрядное движение. Грузовики, фургоны, самосвалы жались к обочине, а легковушки шли на большой скорости и обгоняли их, как стоячих. И вот кончился лес, и Кирпиченко с морячком увидели розоватые, тысяче-

глазые кварталы Юго-Запада. Морячок заерзал и положил Валерию руку на плечо.

— Столица! Ну, Валерий!

— Слушай, наш самолет обратно теперь полетит? — спросил Кирпиченко.

— Само собой. Завтра и полетят.

— С тем же экипажем, а?

Морячок насмешливо присвистнул.

— Кончай. Эка невидаль — модерная девчонка. В Москве таких миллион. Не психуй.

— Да я просто так, — промямлил Кирпиченко.

— Куда вам, ребяташки? — спросил шофер.

— Давай в ГУМ! — гаркнул Кирпиченко и сразу же все забыл про самолет.

Машина уже катила по московским улицам.

В ГУМе он с ходу купил три костюма — синий, серый и коричневый. Он остался в коричневом костюме, а свой старый, шитый четыре года назад в корсаковском ателье, свернул в узелок и оставил в туалете, в кабинке. Морячок набрал себе габардина на мантиль и сказал, что будет шить в Одессе. Потом в «Гастрономе» они выпили по бутылочке шампанского и пошли на экскурсию в Кремль. Потом они пошли обедать в «Националь» и ели черт те что — жюльен — и пили «КС». Здесь было много девушек, похожих на Таню, а может, и Таня сюда заходила, может быть, она сидела с ними за столиком и подливала ему нарзана, бегала на кухню и смотрела, как ему жарят бифштекс. Во всяком случае, капиталист был здесь. Кирпиченко помахал ему рукой, и тот встал и поклонился. Потом они вышли на улицу и выпили еще по бутылке шампанского. Таня развивала бешеную деятельность на улице Горького. Она выпрыгивала из троллейбусов и забегала в магазины, прогуливалась с пижонами по той стороне, а то и улыбалась с витрин. Кирпиченко с морячком, крепко взявшись под руки, шли по улице Горького и улыбались. Морячок напевал:

— Ма-да-гаскар, страна моя...

Это был час, когда сумерки уже сгустились, но еще не зажглись фонари. Да, в конце улицы, на краю земли алым и зеленым светом горела весна. Да, там была страна сбывшихся надежд. Они удивлялись, почему девушки шарахаются от них.

Позже везде были закрытые двери, очереди и никуда нельзя было попасть. Они задумались о ночлеге, взяли такси и поехали во Внуково. Они сняли двухкоечную комнату в аэропортовой гостинице и только увидев белые простыни, Кирпиченко понял, как он устал. Он содрал с себя новый костюм и повалился на постель.

Через час его разбудил морячок. Он бегал по комнате, надраивая свои щеки механической бритвой «Спутник» и верещал, кудахтал, захлебывался:

— Подъем, Валера! Я тут с такими девочками познакомился, ах, ах... Вставай, пошли в гости! Они здесь в общежитии живут. Дело верное, браток, динами не будет... У меня на это нюх... Вставай, подымайся! Мада-гаскар...

— Чего ты раскудахтался, как будто яйцо снес! — сказал Кирпиченко, взял с тумбочки сигарету и закурил.

— Идешь ты или нет? — спросил морячок уже в дверях.

— Выруби свет, — попросил его Кирпиченко.

Свет погас и сразу лунный четырехугольник окна отпечатался на стене, пересеченный переплетением рамы и качающимися тенями голых ветвей. Было тихо, где-то далеко играла радиола, за стеной спросили: «У кого шестерка есть?» и послышался удар по столу. Потом с грохотом прошел на посадку самолет. Кирпиченко курил и представлял себе, как рядом с ним лежит она, как они лежат вдвоем уже после всего и ее пальцы, словно лунные пальчики, гладят его шею. Нет, это и есть этот свет, не как будто, а на самом деле, и ее длинное голое тело — это лунная плоть, потому что все непонятное, что с ним было в детстве, когда по всему телу проходят мурашки, и его юность, и сопки, отпечатанным розовым огнем зари, и море в темноте, и талый снег, и усталость после работы, суббота и воскресное утро — это и есть она.

«Ну и дела», — подумал он, и его снова охватило ровное и широкое ощущение своего благополучия и счастья. Он был счастлив, что это с ним случилось, он был дико рад. Одного только боялся — что пройдет сто лет и он забудет ее лицо и голос.

В комнату тихо вошел морячок. Он разделся и лег, взял с тумбочки сигарету, закурил, печально пропел:

— Ма-да-гаскар, страна моя, здесь, как и всюду, цветет весна...

— Эх, черт возьми,— с сердцем сказал он,— ну и жизнь! Вечный транзит...

— Ты с какого года плаваешь? — спросил Кирпиченко.

— С полста седьмого,— ответил морячок и снова зашел:

Мадагаскар, страна моя,
Здесь, как и всюду, цветет весна.
Мы тоже люди,
Мы тоже любим,
Хоть кожа черная, но кровь красна...

— Спиши слова,— попросил Кирпиченко.

Они зажгли свет, и морячок продиктовал Валерию слова этой восхитительной песни. Кирпиченко очень любил такие песни.

На следующий день они закомпостировали свои билеты: Кирпиченко на Адлер, морячок на Одессу. Позавтракали. Кирпиченко купил в киоске книгу Чехова и журнал «Новый мир».

— Слушай,— сказал морячок,— у нее в самом деле подружка хорошая. Может съездим с ними в Москву?

Кирпиченко уселся в кресло и раскрыл книгу.

— Да нет,— сказал,— ты езжай вдвоем, а я уж тут посижу, читаю эту политику.

Морячок отмахал морской сигнал: «Понял, желаю успеха, ложусь на курс».

Весь день Кирпиченко слонялся по аэропорту, но Тани не увидел. Вечером он проводил морячка в Одессу, ну, выпили они по бутылке шампанского, потом проводил его девушку в общежитие, вернулся в аэропорт, пошел в кассу и взял билет на самолет-гигант ТУ-114, вылетающий рейсом 901 Москва — Хабаровск.

В самолете все было по-прежнему: объявления на двух языках и прочий комфорт, но Тани не оказалось. Там был другой экипаж. Там были девушки, такие же юные, такие же красивые, похожие на Танию, но все они не были первыми, Тania была первой, это после нее пошла вся эта порода, серийное производство, так сказать.

Утром Кирпиченко оказался в Хабаровске и через

час снова вылетел в Москву, уже на другом самолете. Но и там Тани не было.

Всего он проделал семь рейсов туда и семь обратно на самолетах марки ТУ-114, на высоте 9000 метров, на скорости 750 км в час. Температура воздуха за бортом колебалась от 50 до 60° по Цельсию. Вся аппаратура работала нормально.

Он знал в лицо уже почти всех проводниц на этой линии и кое-кого из пилотов. Он боялся, как бы и они его не запомнили.

Он боялся, как бы его не приняли за шпиона.

Он менял костюмы. Рейс делал в синем, другой в коричневом, третий в сером.

Он распорол кальсоны и переложил аккредитивы в карман пиджака. Аккредитивов становилось все меньше.

Тани все не было.

Было яростное высотное солнце, восходы и закаты над снежной облачной пустыней. Была луна, она казалась близкой. Она и в самом деле была недалеко.

Одно время он сбился во времени и пространстве, перестал переводить часы, Хабаровск казался ему пригородом Москвы, а Москва — новым районом Хабаровска.

Он очень много читал. Никогда в жизни он не читал столько.

Никогда в жизни он столько не думал.

Никогда в жизни он не плакал.

Никогда в жизни он так первоклассно не отдыхал.

В Москве начиналась весна. За шиворот ему падали капли с тех самых высоких и чистых водопадов. Он купил серый шарф в крупную черную клетку.

На случай встречи он приготовил для Тани подарок — парфюмерный набор «1 Мая» и отрез на платье.

Я встретил его в здании Хабаровского аэропорта. Он сидел в кресле, закинув ногу на ногу и читал Станюковича. На ручке кресла висела авоська, полная апельсинов. На обложке книги под штормовыми парусами летел клипер.

— Вы не моряк? — спросил он меня, оглядев мое кожаное пальто.

— Нет.

Я уставился на его удивительное внушающее опа-

сение лицо, а он прочел еще несколько строк и снова спросил:

— Не жалеете, что не моряк?

— Конечно, досадно, — сказал я.

— Я тоже жалею, — усмехнулся он. — Друг у меня моряк. Вот прислал мне радиограмму с моря.

Он показал мне радиограмму.

— Ага, — сказал я, а он спросил, сходу перейдя на «ты»:

— Сам-то с какого года?

— С тридцать второго, — ответил я.

Он весь просиял:

— Слушай, мы же с тобой с одного года!

Совпадение действительно было феноменальное, и я пожал его руку.

— Небось в Москве живешь, а? — спросил он.

— Угадал, — ответил я. — В Москве.

— Небось квартира, да? Жена, пацан, да? Прочие печки-лавочки?

— Угадал. Все так и есть.

— Пойдем, позавтракаем, а?

Я уж было пошел с ним, но тут объявили посадку на мой самолет. Я летел в Петропавловск. Мы обменялись адресами, и я пошел на посадку. Я шел по аэродромному полю, сгибался под ветром и думал:

«Какой странный парень, какие удивительные совпадения».

А он в это время взглянул на часы, взял свою авоську и вышел. Он взял такси и поехал в город. Вместе с шофером они еле нашли эту горбатую деревенскую улицу, потому что он не помнил ее названия. Домики на этой улице были похожи один на другой, во всех дворах брехали здоровенные псы, и он немного растерялся. Наконец он вспомнил тот домик. Он вышел из машины, повесил на штaketник авоську с апельсинами, замаскировал ее газетой, чтобы соседи или прохожие не сперли это сокровище, и вернулся к машине.

— Давай, шеф, гони! На самолет как бы не опоздать.

— Куда летишь-то? — спросил шофер.

— В Москву, в столицу.

Таню он увидел через два дня на аэродроме в Хабаровске, когда уже возвращался домой на Сахалин, когда уже кончились аккредитивы, и в кармане было только

несколько красных бумажек. Она была в белой шубке, подпоясанной ремешком. Она смеялась и ела конфеты, доставая их из кулька, и угощала других девушек, которые тоже смеялись. Он обессилел сразу и присел на свой чемодан. Он смотрел, как Таня достает конфеты, снимает обертку, и все девушки делают то же самое, и не понимал, отчего они все стоят на месте, смеются и никуда не идут. Потом он сообразил, что пришла весна, что сейчас весенняя ночь, а луна над аэродромом похожа на апельсин, что сейчас не холодно, и можно вот так стоять и просто смотреть на огни и смеяться и на мгновение задумываться с конфетой во рту...

— Ты чего, Кирпиченко? — тронул его за плечо Маневич, инженер с соседнего рудника, который тоже возвращался из отпуска. — Пошли! Посадка ведь уже объявлена.

— Маневич, не знаешь ты, сколько до Луны километров? — спросил Кирпиченко.

— Перебрал ты, видно, в отпуске, — сердито сказал Маневич и пошел.

Кирпиченко поймал его за полу.

— Ты же молодой специалист, Маневич, — умоляюще сказал он, глядя на Таню, — ты ведь должен знать...

— Да тысяч триста, что ли, — сказал Маневич, освобождаясь.

«Недалеко, — подумал Кирпиченко. — Плевое дело». Он смотрел на Таню и представлял себе, как будет он вспоминать ее по дороге на перевал, а на перевале вдруг забудет, там не до этого, а после, в конце спуска, вспомнит опять и будет уже помнить весь вечер и ночью, и утром проснется с мыслью о ней.

Потом он встал со своего чемодана.

**МАЛЕНЬКИЙ КИТ,
ЛАКИРОВЩИК ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ**

— Что это такое ты принес? — спросил меня Кит.

— Это кепка.

— Дай-ка сюда.

Он взял в руки и с удивлением стал рассматривать мою новую кожаную кепку. Через секунду любопытство его достигло такой силы, что он задрожал.

— Толя, что это такое, а? — закричал он.

— Такая своеобразная кепка, — пробормотал я.

— Это кепка, чтобы в ней летать? — еще сильнее закричал он и запрыгал с кепкой в руках.

Я с готовностью уцепился за эту идею.

— Да, чтоб летать. В этой кепке мы с тобой полетим на Северный полюс.

— Ура! К белым медведям?

— Да.

— К моржам?

— Да, и к моржам.

— А еще к кому?

Голова у меня трещала после рабочего дня, в течение которого я переругался с несколькими сослуживцами, получил устный выговор от директора, совершил несколько ошибок, настроение было прескверное, но я все-таки напрягся, пытаюсь представить себе скудную фауну Ледовитого океана.

— К акулам, — шельмовал я.

— Нет, неправда, — возмущенно возразил он, — акул там нет. Акулы злые, а на Северном полюсе все звери хорошие.

— Да, ты прав, — торопливо согласился я. — Значит, мы полетим к белым медведям, моржам...

— К китам, — подсказал он.

— Ага, к китам и к этим... ну...

— К лимпедузе! — восторженно крикнул он.

— Что за лимпедуза?

Он смугился, положил кепку на тахту, отошел в дальний угол комнаты и оттуда прошептал:

— Лимпедуза — это такой зверь.

— Верно, — сказал я. — Как же это я так забыл? Лимпедуза! Такой скользкий юркий зверек, верно?

— Нет! Он большой и пушистый! — уверенно сказал Кит.

В комнату вошла моя жена и сказала Киту:

— Пойдем займемся нашими делами.

Они вышли вместе, но жена вернулась и спросила меня:

— Звонил?

— Кому?

— Не притворяйся. За целый день ты не смог ему позвонить?

— Хорошо, сейчас позвоню.

Она вышла, и я впервые за этот день остался один. Прислушиваясь к необычной тишине, я словно принимал ванну или душ, душ одиночества после рабочего дня, наполненного во всех своих измерениях шумными людьми, знакомыми и незнакомыми.

Я сел к пустому письменному столу и положил на него руки, с удовольствием ощутил прохладную пустую поверхность стола, лишённого всяких дел, бумаг, исполняющего сейчас лишь обязанность подставки для моих тяжелых рук.

За окном солнце, бесшумно преодолев желтые заросли близкого сада, подкатывало к углу многоэтажного дома, к гигантскому, торчком стоящему параллелепипеду, темному сейчас и словно безжизненному.

Во дворе по крыше котельной носились осатаневшие десятилетние мальчишки. По их разинутым ртам можно было представить, какой за нашими стеклами стоит гвалт.

Из палисадника боязливо вышла культурная старуха, сторожо, словно лань, повернулась в сторону котельной. Мальчишки при виде старухи попрыгали с крыши наземь.

Старуха эта, каждый вечер выходявшая во двор подышать кислородом и подкладывающая под свой бедный зад надувную резиновую подушечку, была постоянным объектом злых мальчишеских шуток. Она давно привыкла к ним и терпеливо сносила проделки этих загадочных, по ее мнению, коварных и быстрых дворовых террористов, терпеливо сносила, но все-таки боялась, всегда боялась.

Сейчас мальчишки пустили поперек ее пути струю из дворницкого шланга и развлекались, дико прыгали

с открытыми в хохоте ртами, а старуха терпеливо топталась, ожидая, когда им наскучит их затея. Появилась дворничиха, подруга старухи, и бросилась в атаку, широко раскрывая при этом рот и размахивая руками.

Вся эта сцена, будь она озвученной, должно быть, вызвала бы во мне гнев или боль, но сейчас она прошла перед моим безучастным взором словно кадры старого немого фильма.

Итак, старуха благополучно пересекала двор, а террористы бесились на крыше котельной, не думая о том, что близкая уже смерть старухи произведет в их душах, может быть, первое, незначительное, конечно, опустошение.

Стараясь сохранить свою безучастность и спасительную лень, я придвинул телефон и стал набирать этот проклятый номер, будто между прочим, будто это для меня пустяк — позвонить ему, но уже на третьей цифре все засосало у меня внутри, сердце, печень, селезенка сжались в один бешено колотящийся ком, и лишь короткие частые гудки освободили меня. Занято!

Я представил себе, как он сидит в кресле или лежит на тахте, но обязательно играет очками, крутит их на одном пальце, разговаривая с кем-то. С кем? С Садовниковым? С Войновским? С Овсянниковым?

Я чертыхнулся, и в этот момент с кухни послышался крик Кита. Он там что-то разбуянился. Иногда на него находит.

— Уходи! — кричал он изо всех сил. — Уходи! — кричал он моей жене. — Ты нам не нужна!

Послышался возмущенный голос жены и потом щелканье выключателя. К Киту были применены санкции — он остался на кухне в одиночестве и в темноте. Сразу затих.

Жена ушла в спальню и забилась там в угол. Она очень тяжело переживает размолвки с Китом, с этим маленьким мальчиком, нашим сынком, с этим «мужичком с ноготок» трех с чем-то лет отроду.

Я встал и пошел на кухню, слоноподобно ступая по паркету, весело и грозно трубя:

— Ту-ру-ру! Пап-слон идет! Из глубины джунглей сам слон Бимбо! Ту-ру-ру, сам папа! Лично! Собственной персоной!

В сердце мое вихрем влетело ощущение спокойствия и любви.

На кухне я увидел его круглую голову на фоне сумеречного окна. Он сидел на горшке и что-то шептал, поднимая палец к окну, где начинали уже зажигаться огни дома напротив.

Я теперь почти привык к Киту. Все реже и реже посещает меня странное чувство иллюзорности, когда он вбегает в комнату или вкатывает в нее на велосипеде. Благоговение перед тайной и страх первых месяцев его жизни почти прошли. Сейчас получается так: ну, Кит — и все! Мальчишка, сынок, чудо-юдо рыба-кит на завалинке сидит... и прочая чепуха.

Ему было полгода, когда я назвал его Китом. Вдвоем с женой мы купали его в ванночке, и он ворочался в мыльной воде и разевал беззубый рот. Я его за голову держал и всовывал назад в уши выпадающие кусочки ваты, а он иногда поднимал на меня свой голубой взгляд и хитровато улыбался, будто предчувствуя нынешние наши замысловатые отношения. Сначала он показался мне сосиской в бульоне, и я сказал об этом жене.

— Вот еще сосиска в бульоне.

Подумав об этом в полминуты, жена заметила, что это вряд ли очень эстетично. Тогда я придумал другое сравнение — Кит.

— Это маленький Кит, — сказал я.

Жена промолчала.

Вечером после купания я уехал во Внуково и сел там в огромный самолет, отбывающий на Восток. Потом на Сахалине, разъезжая по тамошним портовым городкам, в гостиницах и в домах приезжих, я вынимал его карточку и думал о нем уже так: «Как там мой маленький Кит?»

Ну, мало ли какие прозвища я давал ему впоследствии. Он был Кусакой и Вашкиным, а однажды получил такую сложную фамилию — Чушкин-Плюшкин-Побрякушкин-Раскладушкин-Ложкин-Плошкин, — но все эти прозвища постепенно отходили, забывались, а оставалось одно, главное — Кит.

— Ну, что случилось, Кит? — спросил я, усаживаясь в кухне на табуретку и закуривая.

— Смотри, огонечки! — сказал он и показал пальцем в окно.

— Раз, два, три, восемнадцать, одиннадцать, девять,— взялся он считать огоньки и вдруг воскликнул: — Смотри, луна!

Я повернулся к окну. Бледная луна с выеденным боком висела над домами.

— Да, луна,— чуть-чуть заволновался я и стряхнул на пол пепел.

— Толя, Толя, пепельница есть,— сказал Кит тоном своей матери.

— Ты прав,— сказал я,— извини.

Мы замолчали и некоторое время сидели — я на табуретке, он на горшке — в полной тишине, нарушаемой только вздохами жены из спальни и шелестом страниц ее книги. Глаза Кита таинственно светились. Затишье, видно, было ему по душе.

— Знаешь,— вдруг встрепенулся он,— на луну летает пилот Гагарин.

— Да,— сказал я.

— Знаешь,— сказал он,— ни Гагарин, ни Титов, ни Терешкова, ни Джон Глен...

Задумчивая пауза.

— Что? — спросил я.

— ...ни Купер в рот и в нос ничего не берут,— закончил он свою мысль.

В кухню вошла жена и приподняла его с горшка.

— Ничего не сделал. Садись снова и старайся. Ты совершенно не стараешься.

— Толя, а ты стараешься, когда сидишь на горшке? — спросил Кит.

— Да,— сказал я,— слон Бимбо старается.

— А слониха Тумба?

— Тоже.

— А слоненок Кучка?

— Еще как старается.

— А кто еще старается?

— Кашалот,— сказал я.

— А кашалот добрый? — спросил он.

— Звонил? — спросила жена.

— Занято было,— сказал я.

— Так позвони еще.

— Послушай! — вскипел я.— Ведь это мое дело, правда? Это мое дело, и я сам знаю, когда звонить.

— Ты просто грусишь,— презрительно сказала она.

Я вскочил с табурета.

— Отправляйтесь гулять! — резко сказала она. — Собирайтесь живо и марш!

Мы вышли с Китом из дома и пошли по нашему переулку к бульвару. Было уже темно. Кит шагал широко, деловито, маленькая его ручка крепко сжимала мою.

— Так что же? — просил он.

— Что? — растерялся я.

— Кашалот добрый?

— Да, конечно, добрый. Акулы злые, а кашалот добрый.

«Как он представляет себе море, которого никогда не видел? — подумал я. — Как он представляет себе глубину и бескрайность моря? Как он представляет себе этот город? Что такое для него Москва? Ведь он ничего еще не знает. Он не знает, что мир расколот на два лагеря. Он не знает, что такое мир. Мы обозначили уже... худо-бедно, но мы уже обозначили почти все явления, окружающие нас, мы соорудили себе наш реальный мир, а он сейчас живет в удивительном, странном мире, ничуть не похожем на наш».

— А кто у луны бок скусил? — спросил он.

— Большая Медведица, — ляпнул я и испугался, сразу представив, как я все это буду ему объяснять. По его ручонке я понял, что он снова весь задрожал от любопытства.

— Что такое, Толя? — вкрадчиво спросил он. — Какая такая медведица?

Я поднял его на руки и показал на небо.

— Видишь звездочки? Вот эти — раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... В виде ковша. Это называется Большая Медведица.

Что такое звезды? Что такое Большая Медведица? Почему она так испокон веков висит над нами?

— Да, большая медведица! — весело вскричал он и погрозил ей пальцем. — Это она скусила бок у луны! Ай-я-яй!

Легкость, с какой воспринял он эти условности, ободрила меня.

— А там повыше есть еще и Малая Медведица, — сказал я. — Видишь маленький ковшик? Это Малая Медведица.

— А где медведь? — задал он резонный вопрос.

Он стремился организовать медвежью семью.

— Медведь, медведь...—забормотал я.

— Охотиться пошел в лес, да? — выручил он меня.

— Да, да.

Я спустил его с плеча.

Мы вышли на бульвар. Скамейки все здесь были заняты стариками и няньками, а по аллеям расхаживали ряды четырнадцатилетних девочек, а за ними ряды пятнадцатилетних мальчиков. Здесь было светло и голубовато, люминесцентные лампы освещали Конька-Горбунка величиной с мамонта, Жар-птицу, похожую на гигантского индюка, огромного в два человеческих роста Кота в сапогах с порочным выражением круглой физиономии, другого кота, совсем уже растленного вида, на золотой цепи у лукоморья, Царя Гвидона, Царевну Лебедь, Ракету, Королеву полей, Гулливера...

Это был «Мир фантазии» — детский книжный базар, разбитый на нашем бульваре. Киоски в этот час были закрыты, лишь кое-где сквозь щели сказочных фанерных гигантов струился желтый свет — там продавцы подсчитывали выручку.

Кит обомлел. Он не мог сдвинуться с места, не зная, к кому бежать — к Коту ли, к Царевичу, к Лебедю... В первые минуты он словно лишился дара речи, лишь вращал своими большими глазами и что-то беззвучно шептал. Потом дернул меня за руку, заверещал, и мы почти вприпрыжку припустили к киоскам. С трудом я отбивался от града вопросов, рассказывал ему, что к чему, кто добрый, кто злой.

Оказалось, что почти все фигуры являли собой добро и свет, мудрость, народную смекалку, лишь жалкий коршун, паривший над Лебедью, представлял здесь силы зла, но в него уже была нацелена стрела Гвидона.

В конце концов мой Кит устал и привалился боком к Коньку-Горбунку.

— Пойдем, Кит,— сказал я,— надо уже домой идти.

— Толя, слушай, давай их всех с собой возьмем.

— Как же мы возьмем таких больших?

— Возьмем-возьмем, все равно возьмем,— он хлопнул ладошкой Конька.— Этого взяли! — побежал к Коту и его хлопнул.— И этого взяли!

Таким образом всех он забрал к себе в кровать на

сон грядущий и после этого, уже совершенно спокойный, отправился домой, не оглядываясь.

При выходе с бульвара он задержал шаги, и я остановился. В чем дело?

— Посмотри, Толя, — сказал он, — какая идет красивая тетя.

И впрямь — я увидел красивую тетю, которая приближалась к нам. Ее походка напоминала какой-то сдержанный, вернее, еле сдерживаемый танец. Толчками замечательных своих колен она раскидывала полы замечательного пальто, а зонтик, невероятно острый, тонкий, который она держала под мышкой, видимо, являлся не чем иным, как запасным внутренним стержнем для вращения, а глаза ее, тайные и хитрые, ярко осветились при виде нас. Я не видел ее уже три дня, эту тетю, и сейчас стало мне муторно и тревожно, как всегда, когда я ее видел или думал о ней. Сейчас, в присутствии Кита — особенно.

— О, — сказала она, — так вот, значит, он какой, твой маленький Кит. Какая прелесть!

Она нагнулась к нему, а он дотронулся до зонтика и спросил:

— Что это? Стрела? Ружье?

— Это зонтик, — воскликнула она и в мгновение ока раскрыла зонтик. Чуть хлопнув, он развернулся над ее головой, придав всей ее фигуре дополнительную, почти уже цирковую легкость.

— Дай поддержать! — закричал Кит.

Она передала ему зонтик.

— Приятно видеть вас, синьор, за таким мирным занятием, — сказала она мне.

— И вас, мамзель, я рад узреть, — сказал я.

Вообще-то мы могли бы обойтись без этого идиотского остроумия, свойственного нашему кругу, и сразу заговорить серьезно о том, что нас тревожило в последние дни, но так уж повелось, что для начала надо было проявить подобным или более удачным образом чувство юмора, и мы с ней тоже не могли отступить от этого.

Кит кружил вокруг на зонте, и мы могли говорить спокойно.

— Почему ты кислый?

— А ты обижаешься?

— Тебе тошно, да?

— Почему?

— Думаешь, я пристаю к тебе?

— Ты можешь не хитрить?

Она сказала, что не хитрит, что мы могли бы не ссориться, ведь не виделись три дня, она понимает, что на душе у меня кошки скребут, она все понимает, и думает всегда обо мне, и, может быть, это мне помогает...

Она и врала и не врала. Как ловко в женском сердце могут сочетаться искренность и хитрость, думал я. Вечное спокойствие и безумная отвратительная внутренняя суета. Потом им легче, красивым бабам, думал я, они смерти не боятся и не думают о ней никогда, они лишь старости боятся. Глупые, они старости боятся.

Еще я думал, пока она сочувствовала мне, что не следует мне снова входить в ее мир, не хватит меня на это, в голове у меня одна суета, не до приключений мне сейчас и не до романтики, как я хочу спокойствия, а спокойным за целый день я был только среди фанерных чудищ «Мира фантазии».

— Милый,— говорила мне «красивая тетя»,— я понимаю, что это унижительно, но наберись мужества и позвони ему. Ты должен выяснить все до конца, и, если даже будет хуже, все-таки будет лучше, уверяю тебя.

Она подняла свою руку и приложила ладонь этой руки к моей щеке. Погладила.

В это время между нами втерся Кит. Он дернул за рукав «красивую тетю».

— Эй, возьми свой зонтик и не трогай папку. Это мой папка, а не твой.

Мы расстались с «красивой тетей» и пошли домой. Несколько секунд у нас в ушах еще стоял ее чуть-чуть фальшивый, деланно добродушный, может быть, горький смех.

По дороге мы остановились у ворот автобазы. Огромные автобусы въезжали в ворота, и средних размеров, и микроавтобусы.

— Автобус-папа, автобус-мама, автобус-детка,— сказал Кит и засмеялся.

Итак, мы вернулись домой. Пока Кит ужинал и рассказывал маме о прогулке, я слонялся по комнате, поглядывая на телефон, и так волновался, что прямо сил не было никаких.

Я ненавижу этот аппарат. Просто поражаюсь, как

может жена часами разговаривать по телефону со своими подругами, как она может устанавливать душевную близость с людьми при помощи телефона. Может быть, нежность ее к своим подругам переносится на телефонную трубку, и именно к ней она испытывает в эти часы нежность и привязанность?

Я массу времени теряю из-за того, что не люблю разговаривать по телефону. Вместо того чтобы снять трубочку и «брякнуть», я еду через весь город, теряю время и деньги. Может быть, это оттого, что я стремлюсь к реальной жизни, а когда слышишь голос в трубке, кажется, что это выдуманно, все выдуманно, все не по-настоящему.

Может быть, и сейчас так сделать? Может быть, не звонить сегодня, а завтра поехать к нему и поговорить, глядя ему в лицо. Глядя ему в лицо, я смогу мимикой, еле заметной тонкой мимикой показать ему, что я не так-то прост, что меня не так-то просто унижить, дать понять ему, что я не размазня, а мужчина, что мой визит — это тоже акт мужества, а на него мне чихать. Разговор по телефону дает ему огромное преимущество, для меня такой разговор все равно, что разговор со сверхъестественной силой.

Телефон зазвонил. Задребезжала гадина! Я снял трубку и услышал голос дружка своего Стасика.

— Я на тебя обижен, ты на меня обижен, я свинья, ты свинья,— лепетал Стасик.

Когда закончилась увертюра, я спросил, зачем он звонит.

— А затем, чтобы сказать: не будь дураком и немедленно позвони этому деятелю. Ты же знаешь, как много от него зависит. Я видел сегодня Войновского, а тот встречал Овсянникова, который вчера говорил с Садовниковым, они все считают, что ты должен это сделать. Сейчас я позвоню Овсянникову, а тот попытается связаться с Садовниковым, а Садовников позвонит тебе. Ты не знаешь телефона Войновского?

Я положил трубку. Рычажки гадко щелкнули. В течение пятнадцати минут, сидя у молчавшего аппарата, я почти физически чувствовал телефонную возню, поднятую моими друзьями, представлял, как слова, гладкие, словно мыши, юркают в кабели и скользят по ним встречными потоками.

Потом позвонил Садовников, обещая связаться немедленно с Овсянниковым, который дает ему телефон Стасика, а Стасик поможет ему соединиться с Войновским.

— Дозвонился? — спросила, входя в комнату, жена.

— Никто не подходит, — солгал я.

— Понятно. Ты просто безответственный человек.

Она ушла. Я был в полной растерянности и смятении, когда вошел улыбающийся Кит со своими книжками в руках.

— Давай читаем, Толя?

Здесь были сочинения Маршака, Якова Акима, Евгения Рейна, Генриха Сапгира, а также разные народные сказки. Мы взялись за сказки. Кит привалился ко мне и внимательно слушал, в напряженные минуты теребя мое ухо.

Индийскую сказку о слоненке он отверг. Когда мы дошли до того места, где слоненка за хобот ухватил крокодил, он закричал, выхватил книжку и швырнул ее на пол.

— Неправда! — он даже покраснел. — Этого не было! Это плохая сказка!

— Послушай, Кит, — сказал я, — сказка хорошая. Она хорошо кончается.

— Нет! Нет! Она злая! Читай вот эту!

Он вытащил из кучи «Волка и семерых козлят». Господи, подумал я, ведь здесь тоже описаны драматические события, страшный акт съедения маленьких козлят и, хотя все кончается хорошо, как я это прочту Кита, маленькому лакировщику действительности?

Кит тем временем переворачивал страницы и разглядывал картинки.

— Вот коза-мама, — говорит он, — несет молоко. Вот козлята-детки играют.

Милая идиллия развертывалась перед нами, и это радовало Кита. Наивный, он не знал законов драматургии и спокойно открыл следующую страницу, где зверски намалеванный волк тащил в свою страшную пасть беленького козленка. Я замер.

— А вот козленок-папа, — сказал Кит, показывая на волка, — он играет с деткой.

Самым спокойным образом он организовал козльную семью.

— Кит, ты ошибаешься,— осторожно сказал я,— это не козленок-папа, а гадкий серый волк. Он собирается проглотить козленка, но все кончается хорошо, волк будет наказан. Это драматургия, мой маленький Кит.

— Нет! — закричал он и чуть не заплакал.— Это не волк! Это — козленок-папа! Он играет! Ты ничего не понимаешь, Толя!

— Да, я ошибся,— торопливо сказал я.— Ты прав. Это козленок-папа.

— Ванюша, пойдем спать,— позвала его мать, и он ушел, забрав с собой в свои тихие сны семью небесных медведей, семейку автобусов и семью козлят, зонтик «красивой тети», добрых чудиц «Мира фантазии», мою кепку, которая, конечно, ночью вырастет до размеров самолета и в которой он полетит на Северный полюс, в царство добрых зверей.

Уложив его, жена вернулась и села в кресло напротив меня. Мы закурили. Обычно это были хорошие минуты, когда мы вместе курили в конце дня, но сейчас мы курили плохо.

— Что за тетя, о которой рассказывал Иван? — спросила жена.

— Это из главка, консультант по правовым вопросам.

— Так,— сказала она.— Что же ты намерен теперь делать?

— Не знаю.

— Что вообще теперь будет?

— Не знаю.

— Так,— сказала она.

— Господи, скорей бы зима! — вырвалось у меня.

— Зачем тебе зима?

— Зимой ведь у меня отпуск. Поеду кататься на лыжах.

— Конечно,— язвительно сказала она.— Ведь ты прекрасный лыжник.

— Перестань.

— Нет, правда. Ведь ты же первоклассный лыжник. Все это знают.

Она чуть прикусила губы, чтобы не расплакаться. Тогда я придвинул телефон и одним махом набрал этот проклятый номер.

Пока в трубке звучали длинные редкие гудки, я

представлял, как он сейчас сбрасывает свои ноги с тахты и медленно идет к телефону, читая на ходу какую-нибудь из своих книг. Может быть, он потирает спину или зад, может быть, думает, кто же это звонит, наверное, тот жалкий тип со своими идиотскими просьбами. Вот он снимает трубку.

Он говорил со мной тихо и доверительно.

— Послушайте, мне передавали, что вы не решаетесь мне звонить. Я давно жду вашего звонка. Право, что за церемонии и опасения? Видимо, это вызвано недоразумением. В последнюю нашу встречу мне показалось, что Вы неправильно поняли меня. Я думаю, что все решится положительно. Спите спокойно. Я всей душой с Вами и каждым ее фибром, и каждым своим нервом, сердцем, печенью и селезенкой, моим достоинством и честью, верностью, искренностью и любовью, всем святым, что есть у человечества, идеалами всех поколений, земной осью, солнечной системой, мудростью моих любимых писателей и философов, историей, географией и ботаникой, красным солнцем, синим морем, тридевятым царством я клянусь быть верным Вашим слугой, оруженосцем и пажом.

Обливаясь потом, я повесил трубку.

— Вот видишь, — сказала мне жена, — как все просто и не страшно. Стоит только захотеть и... — Она улыбнулась мне.

Я встал, отправился в ванную, умылся, потом зашел в спальню и посмотрел на Кита. Он спал, как маленький богатырь, раскинув руки и ноги. Младенческие перетяжки еще не окончательно исчезли у него, они были обозначены на запястьях, на пухлых его лапах. Он хитровато улыбнулся во сне, видимо, совершая в этот момент разные смешные и милые перестановки в своем царстве.

Когда я смотрю на него, я наполняюсь радостью, светом и добром. Мне хочется выпить за счастливую жизнь семерых козлят.

СОДЕРЖАНИЕ

●

7 ДИКОЙ

33 ЗАВТРАКИ 43-го ГОДА

**43 МЕСТНЫЙ ХУЛИГАН
АБРАМАШВИЛИ**

62 КАТАПУЛЬТА

74 ПЕРЕМЕНА ОБРАЗА ЖИЗНИ

●

89 ЯПОНСКИЕ ЗАМЕТКИ

●

115 ПАПА, СЛОЖИ!

**130 ТОВАРИЩ КРАСИВЫЙ
ФУРАЖКИН**

150 НА ПОЛПУТИ К ЛУНЕ

**170 МАЛЕНЬКИЙ КИТ, ЛАКИРОВ-
ЩИК ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ**

**ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ
АКСЕНОВ**

НА ПОЛПУТИ К ЛУНЕ

Книга рассказов

Редактор *В. М. Курганова*
Художник *Е. А. Михельсон*
Худож. редактор *Э. А. Розен*
Тех. редакторы
Е. А. Ельская,
Т. Ф. Клапцова
Корректор *Л. П. Королева*

Сдано в набор 6/VII-65 г.
Подписано к печати
30/XII-65 г. Формат бу-
маги 84×108 ¹/₃₂ д. л.
Физич. печ. л. 5,75. Усл.
печ. л. 9,43. Уч.-изд. л. 10,5.
Изд. инд. ЛХ-28 А 1294½
Тираж 100 000 экз. Цена
52 коп. в пер. № 6.
Бум. № 2. Темплай
1965 г. Дополнение № 28.

Издательство «Совет-
ская Россия». Москва,
проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1
Рославполиграфпрома
Комитета по печати
при Совете Министров
РСФСР, г. Электросталь,
Московской области,
Школьная, 25. Зак. 608.